

The illustration is a vibrant, Art Deco-style composition. At the top, a golden mask with a white face is set within a decorative frame. Below it, the title 'СПОЙ МНЕ О ЗАБЫТОМ' is written in a large, white, stylized font against a dark red background. The central figure is a woman with long, flowing red hair, wearing a white high-collared dress with a red shawl draped over her shoulders. She is looking upwards with her hands raised in a gesture of prayer or awe. To her left and right are two golden-winged figures, possibly angels or spirits, holding up a golden banner. The entire scene is framed by intricate, golden, swirling patterns and topped with two lit candles. At the bottom, a golden lyre is positioned above a decorative frame containing the author's name.

СПОЙ МНЕ
О ЗАБЫТОМ

Джессика С. Олсон

Лучшие мировые ретеллинги

Джессика Олсон

Спой мне о забытом

«ЭКСМО»

2021

УДК 821.111-312.9(73)

ББК 84(7Сое)-44

Олсон Д. С.

Спой мне о забытом / Д. С. Олсон — «Эксмо», 2021 — (Лучшие мировые ретеллинги)

ISBN 978-5-04-188153-5

Её бросили в колодец сразу после рождения. Её не существует. По крайней мере, за позолоченными стенами оперного театра. Её дар и проклятие – манипуляции чужими воспоминаниями, и люди убьют её, если узнают о ней. Её зовут Исда. Она – Призрак Шаннской Оперы. Владелец театра спас её, дав убежище от безжалостного мира. До поры Исду устраивает жизнь в золотой клетке, но однажды она слышит чарующий голос юного Эмерика Родена – и видит в его воспоминаниях девочку с таким же даром, как у неё. Теперь Исде нужны ответы, но готова ли она явить себя миру, от которого так долго скрывалась? Ведь если тот встретит её ненавистью, Исде придётся стать монстром, которым видят её другие... Ретеллинг «Призрака Оперы», вдохновленный культовым романом Гастона Леру и легендарным мюзиклом.

УДК 821.111-312.9(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-04-188153-5

© Олсон Д. С., 2021

© Эксмо, 2021

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	11
Глава 3	17
Глава 4	19
Глава 5	25
Глава 6	30
Глава 7	35
Глава 8	41
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Джессика С. Олсон Спой мне о забытом

Jessica S. Olson
SING ME FORGOTTEN

Copyright © 2021 by Jessica Olson

© Куралесина И., перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

* * *

Джону.

Ты возишься с детьми, следишь, чтобы в доме всегда было арахисовое масло, и глазом не моргаешь, когда я спрашиваю, как сподручнее ударить человека осколком стекла.

Ты просто мечта, этой книги без тебя не случилось бы.

Глава 1

Я тень. Сияние черного атласа. Видение во тьме.

Музыка взмывает над публикой и поднимается туда, где я прячусь за мраморным херувимом у самого купола Шаннского оперного театра. Вибрато ведущего сопрано дрожит в воздухе, и я закрываю глаза, когда ее голос дарит мне ее черно-белые воспоминания, которые зыбко дрожат на внутренней стороне век. Картинки размытые, а чувства приглушены, но если поддаться им, на миг можно почти забыть, кто я.

Каждый вечер, когда поднимается занавес и свет заливает сцену, когда зрители, перешептываясь, занимают места, а воздух дрожит от звона струн, я выглядываю во внешний мир – в мир, который я никогда не видела собственными глазами, но знаю как свои пять пальцев, потому что проживала тысячу разных жизней.

Воспоминания ведущего сопрано захватывают меня, и на время я превращаюсь в нее, оказываюсь на сцене, что купается в золотом свете, и мой голос заполняет театр. Публика смотрит, как я танцую, и пусть я не вижу выражений их лиц так, как видит сопрано, я представляю, что их глаза блестят от слез, когда моя песня проникает в их души и звучит в унисон со струнами их сердец – медленно, искусно. Лица сияют, взгляды прикованы к моей красоте. Я дотрагиваюсь рукой до щеки, которой никогда не ощутить тепла софитов.

Но пальцы не касаются гладкой кожи, а скользят по маске. Я с шипением отдергиваю руку и разрываю связь с прошлым этого сопрано.

Мое внимание привлекает ложа, в которой Сирил Барден ловит мой взгляд. *Ты слишком заметна, Исда*, говорят его глаза.

Я отступаю в тень, пока аплодисменты плещутся внизу каплями дождя, и близко не такие восторженные, чтобы обеспечить достойные продажи билетов. Видимо, одной сопрано, пусть даже ее выступление было почти безупречным, недостаточно, чтобы затмить остальную кошмарную труппу.

К счастью, я отлично знаю свое дело.

Рукоплескания иссякают, когда Сирил стремительно выходит на сцену. Артисты выстраиваются в ряд позади него, одергивая костюмы и поправляя парики как можно незаметнее. Избыток грима на их лицах делает улыбки натянутыми и прокладывает пудрой усталые морщинки вокруг глаз, а улыбка Сирила, как всегда, обворожительна, и ее подчеркивает царственный высокий лоб, белые, как лист бумаги, волосы и чисто выбритый подбородок. Он с сияющим взором обращается к публике.

– Мерси¹, мои блистательные гости, – его глубокий голос отражается от дальней стены и катится назад. – Развлекать вас сегодня вечером – истинное удовольствие.

Я машинально тянусь к кулону у горла и накручиваю его цепочку на пальцы, а предвкушение пузырьками пенится в животе.

– А сейчас, прежде чем я скажу «au revoir²», самое время для древнего обычая Шаннского оперного театра – мы просим публику присоединиться к артистам для особого исполнения ворельской классики, «Le Chanson de Rêves»³.

Сирил поворачивается к оркестру у своих ног и кивает:

– Маэстро.

Дирижер отдает указания струнным, затем взбирается на сцену рядом с Сирилом и поднимает палочку. Публика разом подхватывает знакомый мотив.

¹ Спасибо (*фр.*) Все примечания отсюда и ниже принадлежат переводчику.

² До свидания (*фр.*).

³ «Песнь снов» (*фр.*).

Кожу на левой щиколотке покалывает – там я когда-то вырезала Символ Управления, который позволяет мне пользоваться магией. Шрам с тех пор почти исчез, стерся от неуклюжих падений с лестницы, но способность, которую он мне подарил, все так же сильна, стоит только голосам наполнить воздух пением. Сила урчит в груди, тянется к каждому из поющих, жаждет прикоснуться к памяти, что живет в них. Я быстро оглядываю лица, позволяя картинкам и чувствам мелькать во мне одно за одним стремительным потоком взглядов, звуков и запахов.

Когда люди поют, я вижу их воспоминания, начиная с самых последних. Если я захочу, то могу пробраться глубже во времени, просеивая текучий водоворот событий в их разумах, будто опуская пальцы в бегущую воду ручья.

Только в эти секунды я ощущаю себя по-настоящему живой. Пусть мир вынудил меня прятаться, возненавидел за мои силы, пытался убить за то, кто я такая, но я нашла свое призвание, окружив себя его музыкой и держа воспоминания его людей в руках. Они не ведают, что я здесь, что я прорываюсь сквозь их мысли, сквозь их тайны и темные уголки душ, но это знаю я. И не важно, сколько вечеров я провела здесь, прячась в тених, трепет, когда я наконец получаю над ними хоть какую-то власть, – этот трепет достигает каждой клеточки моего тела.

Вот – мое выступление, единственное, что мне доступно. Пусть мне нельзя встать на сцене и заморозить их своим голосом, но мой маленький вклад делает меня такой же участницей представления, как и танцоры, и певцы.

Я проскальзываю в память о представлении каждого зрителя, как балерина – в круг света, переходя от одного разума к другому, стираю все неприятные эмоции, которые встречаю, и заменяю их положительными. Когда настроение становится подходящим, я начинаю стирать из воспоминаний момент, когда голос ведущего тенора сорвался на той высокой «соль», и тот миг, когда одна из балерин споткнулась, пробегая через самую середину сцены.

Я работаю и подпеваю шепотом, песню я знаю так хорошо, что слова сами срываются с языка подобно дыханию. Моя любимая часть – это хор.

Кого сквозь столетья: его или Их
В грехах мы решим обвинить?
Трех дев, что предстали страшной гильотин,
Ворель утопивши в крови?

Невинен ли он, возлюбленный их,
Отважный и честный? О нет –
Он меч обнажил, любовь их предал
И жизни лишил их во сне.

Работаю я быстро. В театре около двух тысяч зрительских мест, так что поправить воспоминания о сегодняшнем выступлении у всех не получится, но изменять все и не нужно. Если я смогу поработать с большинством, пока песня не закончилась и связь не прервалась, этого хватит, чтобы посыпались хвалебные отзывы, чтобы билеты продавались, а сезон прошел успешно.

Оркестр повторил последние ноты, зрители замерли в тишине, и образы пропадают из моего разума.

Я накручиваю цепочку медальона на мизинец, улыбка расцветает на лице.

Воздух заполняется шумом: зрители, разодетые в шелка и жемчуга, фраки и цилиндры, пробираются к выходам, и я наблюдаю за ними, пока они натягивают перчатки и любезничают друг с другом. Их лица разрумьянились от восторга. Они бурно жестикулируют при разговоре. Руки ныряют в кошельки за блестящими монетками, которые обеспечат им новые билеты.

Сирил ловит со сцены мой взгляд. Он не улыбается – это было бы слишком уж заметно, – но складки у губ чуть углубляются в знак одобрения.

Я киваю – грудь моя чуть вздымается после применения дара – и отхожу назад, чтобы подождать, пока опера опустеет.

Лишь когда уборщицы собрали мусор со зрительских мест, погасили лампы и отправились домой, я все же выхожу из-за каменного херувима на потолке. Тихо проскальзываю в люк, о котором знаем лишь мы с Сирилом, и кошкой приземляюсь в проходе галерки.

Величественное, роскошное здание открывает мне свои темные объятия, и я спускаюсь на первый этаж, пересекаю сверкающий плиткой вестибюль и направляюсь к кабинету Сирила в восточном крыле. Легкий аромат дыма витает в воздухе: это недавно погашенные люстры тянут в тених руки к высокому потолку.

Юбки – ш-ш-ш – шелестят по полу, и только этот шелест нарушает тишину. Дышится легко. Свет погашен, люди ушли, никто меня не увидит, никто не заметит маску и не задумается, что же под ней, нет опасности, что меня обнаружат и приговорят к смерти.

Я иду, а в окнах сверкают звезды, и я останавливаюсь на минутку, чтобы опереться на подоконник, снять щеколду и распахнуть окно. Свежий осенний воздух касается шеи и взъерошивает перья ворона на маске. Я упиваюсь вкусом наступающей осени, хрупким ароматом рыжих и красных листьев, легким холодком, что приносит ветер.

Сероватый свет газовых фонарей вырезает тени на брусчатке и в лабиринте домов. Рядом ржет лошадь, ветер доносит до меня скрежет колес экипажа.

Каково это – прогуляться по этим улицам? Каким будет звук шагов, если помчаться по этой брусчатке? Как ощущается ветер на неприкрытом лице?

Шанн я знаю лучше всех. Я видела каждый его дюйм от богатых домов на холме до закопченных рабочих кварталов на западе. Я осматривала его глазами и булочников, и членов городского совета, и извозчиков – любого, у кого в кармане хватит денег, чтобы позволить себе провести вечер в опере.

Но посмотреть на город *самой*? Не в хрупких черно-белых воспоминаниях, где ощущения притупились, а эмоции унесло потоком времени, а там, посреди реального мира? На самом деле все ощутить? Я прижимаюсь к оконной раме, а созвездия сияют драгоценными камнями на черном бархате неба.

На углу смеются, и я смотрю туда. Сопрано, в чьих воспоминаниях я сегодня побывала, взбирается в темное нутро кеба, а один из ведущих танцоров поднимается вслед за ней.

Я стискиваю зубы.

Как бы я ни любила их музыку и воспоминания в ней, не могу удержаться от неприязни к каждому из них. Актеры, танцоры, даже зрители. Они, все они причастны к тому, что даже просто существовать для меня опасно. Это они взвизгнут при виде моего лица, они поморщатся при упоминании гравуаров⁴ – они тщательно выстроили общество, где мне не рады.

Это из-за них миру никогда не услышать мой голос.

Я закрываю окно и вместо того, чтобы подняться в кабинет Сирила, как предполагалось, разворачиваюсь и возвращаюсь в темный пустой театр.

Приглушенные шаги звенят в тиши невероятно громко, пока я иду к сцене, поднимаюсь по ступенькам и стремительно прохожу в центр. Оборачиваюсь к пустым бархатным сиденьям.

Все огни, включая люстру, давно погашены, и зал полон теней. Я представляю, что это зрители – как те, из воспоминаний сопрано. Они смотрят на меня в упоении, восхищенно вскинув брови. Подаются вперед, задерживают дыхание в ожидании следующей арии.

Я откидываю голову назад и закрываю глаза, представляя мягкое пение смычка, что скользит по струнам скрипки, возвещая первые ноты моей арии.

⁴ Гравуар (*фр. gravoir*) – резчик, гравёр.

Но когда я набираю воздуха и открываю рот, чтобы запеть, ушей моих достигает тихая песенка.

Я замираю. Задерживаю дыхание. Поворачиваю голову в направлении звука.

Дрожь далекого голоса выводит незнакомую мне мелодию. Мужского голоса. Звучного тенора, который скользит от ноты к ноте, как по мягкому маслу.

Следовало бы не обращать внимания, покинуть театр и подняться по лестнице к кабинету Сирила. Следовало бы держаться подальше от того, кто поет в темноте, кем бы он ни был.

Но тело само тянется к музыке, упивается ею, музыка дрожит в ушах и мурашками пробирает до позвоночника, пока я спускаюсь со сцены и возвращаюсь в вестибюль. Сперва я не спешу, но ускоряю шаг по мере приближения. Какие воспоминания я увижу в его припеве? Какие части света откроются мне?

Его голос – как снежный день после стылой ночи, гладкий как стекло и искрящийся как бриллианты. Он – яркий огонь осени, обращающий мир в горящий калейдоскоп красного и золотого. Он – нежная ласка тьмы, он приветствует и принимает, он – неизменность.

Все во мне замирает. Утихает восторженная дробь пульса, медленнее вздымаются легкие, даже сердцебиение замедляется. Его вибрато летит от ноты к ноте, увлекая за собой.

Когда я достигаю конца коридора, его воспоминания врываются в меня все разом с мощью тысячетонной лавины. Отшатнувшись, я опираюсь на стену и вцепляюсь в резные листья, украшающие ее, да так, что боль пронзает подушечки пальцев.

Прочие воспоминания, которые я видела, были просто приглушенными далекими видениями в серых тонах, но его – до боли живые, полные цвета и яркого солнечного света.

Они проносятся вихрем, радугой эмоций и оттенков, увлекают меня течением великой реки. Я не погружаюсь в последнее воспоминание, а стремлюсь глубже в память, кружась в отзвуках смеха и взрывах музыки, слишком очарованная потоком чувств, чтобы выбрать какое-то одно воспоминание – нет, пусть они все омывают меня сверкающим водопадом жизни.

Тело мое покалывает, искрится, будто молния, словно я впервые ожила за все свои семнадцать лет. Я мчусь сквозь образы, но тут появляется одно лицо, и я останавливаюсь. Всматриваюсь.

Это маленькая девочка лет шести с розовыми щечками и темными волосами, и выглядит она такой настоящей, что, клянусь, я могла бы протянуть руку и провести ладонью по шелку волос. Яркая голубая ленточка повязана вокруг головы, кружевная ночная рубашка голубовато-лилового цвета льнет к хрупкой фигурке – самая обычная девочка.

Но я застываю, завидев ее. Кровь отливает от лица, и я покачиваюсь. Руки взмывают к кулону и сжимают его со всех сил, так, что края врезаются в ладонь.

Это самая обычная девочка – если не считать лица.

Лицо у нее – как у меня.

Колени подламываются, и я врезаюсь в подсвечник по соседству. Тот опрокидывается и гремит по плитке, разбивая молчание оперного театра.

Тенор умолкает, воспоминание рассеивается. Я пытаюсь вернуть равновесие, сердце грохочет, взмокшие от пота волосы липнут к шее.

– Эй! – окликает тенор.

Я пячусь назад, с ужасом глядя на подсвечник у ног.

Разворачиваюсь и убегаю.

Воспоминания о той ночи, когда я родилась, когда меня бросили в колодец, чтобы я утонула, охватывают меня, когда я сворачиваю за очередной угол, подобрав юбки. Я гравуар, а гравуары считаются чудовищами, искажающими память, так что я не способна забыть ни секунды своей жизни. Но воспоминание о холодной воде, о том, как жгло в груди, о том, как Сирил схватил меня и вытащил, и унес в безопасное место, никогда не казалось более реальным, более насущным, чем сейчас, пока я убегаю, спасая собственную жизнь.

Потому что если этот тенор поймает меня, если снимет маску и увидит, кто я такая, то смерть, которая преследовала меня с той холодной сырой ночи, наконец получит свое.

Глава 2

Шаги тенора грохочут за спиной. Эхо мечется вокруг, отражаясь от потолка и статуй, и кажется, что он сразу повсюду. Я бегу так быстро, как могу, и молюсь Богу Памяти, чтобы он спрятал меня, чтобы этот человек не нашел меня.

Я резко влеваю в поворот лестничной клетки и останавливаюсь как вкопанная, увидев Сирила. Его волосы нимбом сияют в звездном свете, а губы сжимаются в тонкую линию, когда он бросает взгляд на мое лицо и на коридор за моей спиной. С недовольным видом он хватается за локоть и вталкивает в глубокую нишу в стене, а потом шагает вперед и встречается тенора.

– Мсье Родин! – говорит Сирил тихо и напряженно, когда тенор появляется из-за угла. – Боже, куда вы так спешите?

– Простите! – Тенор останавливается, но бросает взгляд за плечо Сирила в коридор, где я прячусь. Я прижимаюсь к стене, молясь, чтобы черное платье не выделялось в тени, а стразы, которые я нашила на маску, не отблескивали.

Загадочный тенор оказывается мальчишкой моих лет. Одежда на нем поношенная, на конке темных волос, падающих на глаза и путающихся в ресницах, водружена кепка.

– Я кого-то заметил, – говорит он, а грудь высоко вздымается после нашей погони. – Вдруг это вор.

Сирил усмехается:

– Может, это был Призрак Оперы.

– Призрак Оперы, месье?

– Oui⁵. Говорят, ночами по коридорам бродит призрак, но никто еще не смог доказать, что это правда.

Мальчишка хмурится и вновь заглядывает Сирилу за спину.

– Это был не призрак. Кем бы он ни был, он опрокинул подсвечник.

– Мсье Роден, дорогой мой. Эмерик, верно?

– Oui, месье.

– Эмерик. Каждый вечер в одиннадцать я обхожу все здание. Если здесь бродят какие-нибудь воры, я непременно их замечу. – Сирил скрещивает на груди длинные тонкие руки. – Кстати, если я не ошибаюсь: когда я нанимал вас на работу этим утром, я четко обозначил, что третий этаж нужно вымыть к десяти вечера.

– Oui, месье, я как раз заканчивал.

Сирил вытягивает из нагрудного кармана блестящие часы.

– А сейчас уже почти десять тридцать.

Эмерик кивает и опускает взгляд.

– Oui, месье. Простите.

– Предлагаю вернуться к делу. – Сирил хлопает тенора по плечу. Эмерик вздрагивает от прикосновения, и при этом внезапном движении что-то блеснит у горла. Я прищуриваюсь, чтобы рассмотреть.

Воротник рубашки чуть расстегнут, и из-под него выглядывает голубой камень на толстом кожаном ремешке. Камень чистый и яркий, как летнее небо, и так сверкает, что я хватаю собственное ожерелье, чтобы не охнуть.

Эмерик вновь шевелится, и камень исчезает из виду.

– И не переживай из-за Призрака Оперы, или что ты там видел, – продолжает Сирил. – Все находится под моим полным контролем. Муха не пролетит.

⁵ Да (фр.)

Эмерик хмурится, сводит густые брови, будто не вполне поверив, но кивает и размашисто шагает обратно.

Я понимаю, что высунулась из ниши, чтобы посмотреть, как он уходит, и провожаю глазами резкие линии широких плеч и уверенные стремительные движения длинных ног.

Когда парень скрывается из виду, а звук шагов утихает, Сирил окликает меня, не оборачиваясь:

– Исда?

Сглотив, я выпускаю из рук кулон и прячу его обратно в вырез платья. Ладонь жжет в месте, где края украшения врезались в кожу. Я столько всего видела в воспоминаниях Эмерика: все эти цвета, свет, девочка-гравуар, и кровь бурлит, но я заставляю себя дышать медленно.

– Сирил, прости, пожалуйста. Это вышло случайно. Я...

Сирил устало взирает на меня.

– Мы не можем допускать случайностей, Иззи. Нужно быть осторожнее.

Я киваю, щеки горят под маской.

– Знаю. Я забылась.

Он вздыхает и указывает на лестницу.

– Пойдем?

Подобрав вспотевшей рукой юбки, я иду за ним на четвертый этаж и дальше по коридору к резной дубовой двери в его кабинет. Он вставляет в замок большой металлический ключ, поворачивает его со скрежетом и толкает дверь. Комната дышит в лицо холодным воздухом. Я захожу внутрь вслед за Сирилом и начинаю зажигать настенные светильники, а он подходит закрыть окно и надежно запереть его на щеколду.

Сирил обычно так взбудоражен во время наших ночных бесед после представления: болтает о продажах билетов, о выручке, о том, в каком восторге были посетители, прощаясь с ним. Однако сегодня он избегает моего взгляда и принимается перекладывать предметы на столе с места на место, будто они нанесли ему личное оскорбление, стискивая зубы так, что они вот-вот хрустнут.

В теплом свете видны книжные полки от стены до стены, набитые тысячами книг. Золотые буквы названий подмигивают курсивом с потертых корешков. К задним полкам приставлена рама с картой нашего города, Шанна, и еще одна, с картой нашей страны, Ворель. Золотые флаконы эликсира памяти занимают все пространство, свободное от элегантных авторучек и счетов с прошлых выступлений.

У меня перехватывает дыхание, как и всегда, когда я вижу статуэтку, которую Сирил держит на полке позади стола.

Она изображает Троицу. Трех ужасных гравуаров, которых принято поминать лишь шепотом. Трех женщин, которые однажды поставили мир на колени и умыли улицы кровью. Трех чудовищ, которые заставили всех бояться и убивать таких же, как они.

Я отрываю взгляд от их изуродованных лиц и обнаженных зубов и усаживаюсь на деревянный стул перед столом Сирила – стул, на котором я так часто сидела, что кажется, будто его смастерили специально под все изгибы моей спины. Сцепив руки на коленях, я упорно смотрю в пол, игнорируя взгляды Троицы, бурящие лоб, и жду, когда Сирил что-нибудь скажет. Что угодно.

– Я постараюсь быть незаметнее, – обещаю я. – Такого больше не случится.

Он вытаскивает с полки книгу, смотрит на обложку и кладет ее на стол, стараясь не потревожить множество бутылочек, которые аккуратными рядами заполняют угол стола. Держа в тонких руках книгу, он какое-то время недовольно смотрит на название, а потом поднимает взгляд на меня.

Его серо-голубые глаза полны чувств, которые я так хорошо знаю, что могу положить на музыку. Разочарование суживает их уголки. Огорчение выдает форма бровей, насупленных

так, что они касаются ресниц. Но сильнее всего испуг: он тревожит цвет радужек, будто брошенный камень, и тревога обращается волной. Можно целый концерт написать, изучая этот взгляд с осторожными четвертными нотами и скрытыми басами.

Я поднимаюсь, тянусь через стол и легонько накрываю его ладонь своей, не мигнув, не отведя взгляд.

– Я в порядке, Сирил. Он меня не заметил. Он не знает, кто я.

– Ты уверена? – едва шепчет он.

– Oui. Я в безопасности.

Мы молча смотрим друг на друга, и я практически слышу отзвук его голоса: он ритмично читает стишок в конце моей любимой сказки, «Шарлотта и зеркало забытых вещей», и утасующий трепет каждого слога убаюкивает меня, маленькую, пятилетнюю. «Шарлотта смотрела в зеркало и видела много вещей», – бормотал он неисчислимое количество раз. «Бочонок, бумажки, ботинок, бананы, что солнца желтей...»

– Все хорошо, – уверяю я его, сжимая руку.

Сирил выдыхает, стискивает зубы и наконец кивает.

– Нельзя расслабляться, Исда. Никогда. – Он понижает голос: – Уверен, незачем напоминать, что беспечность может стоить тебе жизни.

Я качаю головой:

– Незачем.

– Хорошо. Потому что если я тебя потеряю... – Он сглатывает и сжимает переносицу тонкими пальцами. – Я не выдержу. – Он опускает руку и накрывает мою кисть ладонью, а уголки губ в улыбке изгибаются кверху. – Кроме того, ты оказалась просто незаменимой со своими способностями к подмене памяти. Не знаю, справился бы театр без тебя.

Я смеюсь:

– Рада помочь.

Он всматривается в мое лицо мягким взглядом:

– Но тебе самой этого достаточно? Я не меньше тебя хотел бы, чтобы тебе было незачем прятаться, чтобы ты могла принимать большее участие в выступлениях. Небеса знают, как вокалистка ты куда лучше, чем те, кого я когда-либо нанимал.

Румянец покрывает щеки.

– Мне достаточно и этого.

Он склоняет голову, ощущая дрожь лжи. Мы оба знаем, что ничего не будет достаточно, пока я не могу встать на этой сцене.

Я склоняюсь к нему и смотрю в глаза.

– Я и так получила больше, чем любой другой гравуар, и за это буду вечно благодарна.

– Обещай, что будешь вести себя осторожнее.

Я киваю:

– Такого больше не повторится.

Он смотрит на меня долгим взглядом, затем отпускает руку и устраивается в высоком кожаном кресле за столом. Лицо его расслабляется.

– Так. Если не считать происшествия с Роденом, я бы сказал, ты сегодня неплохо справилась. После «Le Chanson des Rêves» публика осталась в отличном настроении.

Я ерзаю на краешке сиденья, не пытаюсь изгнать из голоса радостное возбуждение.

– У меня получилось стереть тот момент, когда у тенора сорвался голос, как минимум у трех четвертей зала!

Губы Сирила изгибает довольная улыбка.

– У тебя получается все быстрее. Такими темпами мы распродадим все места на «Le Berger⁶» за несколько месяцев.

– Ну на него-то билеты продать не так уж сложно.

Сирил берет со стола одну из бутылочек с эликсиром памяти и катает по ладони.

– Народ всегда его обожал, это правда.

Флакон у него в руках такой же, как и все другие, которые мне когда-либо встречались, и все равно я замечаю, что не могу оторвать взгляда. Длинной он всего в подушечку большого пальца, а спиральный знак фандуаров, вырезанный на поверхности, такой крошечный, что кажется просто сколом на стекле. Эликсир памяти золотисто поблескивает, перекатываясь вперед-назад при переворачивании, и я поражаюсь тому, как воспоминания, которые я вижу в разумах посетителей, обращены в такую простую, но элегантную форму.

Так жаль, что фандуарам – тем, кто добывает эликсир из людских разумов, – нельзя в театр оперы. Иначе я смогла бы пробраться в их головы и посмотреть, каково это – творить такое колдовство. Вытягивать самую суть человеческой памяти, чистую эссенцию запоминания, которую можно продать тому, кто предложит большую цену. Затем ее выпьют, чтобы улучшить собственную способность обращаться к прошлому.

Интересно, эликсир из воспоминаний Эмерика Родена выглядел бы не так, как прочие? Мне он кажется бурлящим, переливающимся всеми цветами радуги и каким-то образом полным музыки.

– Ты уже начал пробы на роль главного тенора в «Le Berger»? – отсутствующе спрашиваю я, загипнотизированная тем, как Сирил машинально перебрасывает флакон из руки в руку.

– Oui. Утром. – Он подбрасывает бутылочку, ловит и указывает пробкой на дверь за моей спиной. – Явился этот мальчишка и предложил себя. Ни дня не обучался.

Я хмурюсь.

– Я слышала, как он поет. Поэтому и отвлеклась. Его голос...

– Не имеет значения, какой там у него голос. Критики заметят необученного исполнителя на третьей ноте первой арии.

Сирил ставит бутылочку на место рядом с остальными, соединяет пальцы домиком перед лицом и одаряет меня задумчивым взглядом.

– Вместо этого я предложил ему место уборщика. Может, если он потрется какое-то время среди правильных людей, то однажды превратится во что-нибудь стоящее. И плачу я ему более чем прилично, так что если он верно распорядится деньгами, то определенно сможет однажды нанять учителя.

– Наверное...

Но мне все равно жаль, что Сирил не позволит этому юноше петь. Стоит лишь вспомнить голос Эмерика, как по рукам бегут мурашки.

– Кстати, о «Le Berger»... – Глаза Сирила сверкают, а в уголках губ играет тень улыбки. Он лезет в пиджак и достает стопку бумаг, перевязанную золотистой веревочкой. – Ни за что не угадаешь, кто сегодня был на представлении.

– Кто? – Я сверлю глазами бумаги в его руке. Мне видно только обратную сторону, но бумага плотная, да и скреплено так, будто это ноты.

Усмешка скользит по его лицу, и он переворачивает листы лицом ко мне. Золотые буквы выдают, что это специальное издание музыки из «Le Berger» для органа.

– Андре Форбен.

– Не может быть! – пишу я, вскакивая на ноги. – Где он сидел?

– В ложе под моей. – Сирил протягивает ноты, я выхватываю их у него и распаиваю на первой странице, где вьется элегантными черными петлями царственная подпись Форбена –

⁶ «Le Berger» (фр.) – «пастух».

внизу листа, там, где он указан в качестве композитора оперы. – Нашел их, когда заходил на прошлой неделе в «Шонтер». Знаю, у тебя уже есть органная аранжировка, но когда я заметил, что это специальное издание, то не смог устоять.

Не смея ни моргнуть, ни вздохнуть, я провожу дрожащими пальцами по нотам, которые полуночной тьмой лежат на девственно-белом пергаменте.

Сирил мягко спрашивает:

– Ну как? Нравится?

Я бросаюсь к нему и обвиваю руками шею.

– Я просто влюблена!

Посмеиваясь, он гладит меня по кудрям. Когда он отпускает меня, я прижимаю ноты к груди и сажусь обратно на стул, едва не подпрыгивая на месте.

– Если бы только *ты* могла стать ведущим сопрано «Le Berger»... У тебя идеальный диапазон, – вздыхает он, садясь в кресло.

– Спасибо. – Благодарность выходит кислой, и я поджимаю губы. Потому что он прав. У меня в самом деле идеальный диапазон для этой оперы.

Только вот лицо не идеальное.

Он вздыхает, достает с полки тонкую папку и пролистывает ее.

– Совет опять мешает? – Я рассматриваю ряды книг учета на полках за столом. Сирил целыми днями работает в Королевском Совете Шанна, и он служил там, сколько я себя помню. Достаток и влияние в городе превратили его в очень видного члена правительства.

– Ммм? А, нет. – Он лезет в ящик стола за авторучкой и набрасывает пару слов на одной из страниц. – Рутинка. Держим беспамятных под контролем, следим, чтобы фандуары вели себя прилично в Maisons des Souvenirs, Домах Памяти. Ну и все такое. – Он тяжело вздыхает и искоса смотрит на меня. – Знаешь, я скоро перестану быть простым служащим в правительстве. – Он умолкает, потирая большим пальцем гладкий подбородок.

– Что не так? – спрашиваю я.

Он укладывает обе ладони на стол.

– Просто... Я про Леру. Главу Совета Шанна. Он так беспечен. Записи он ведет ужасно, да к тому же отказывается принимать всерьез опасности, готовые выплеснуться на город.

– Какие?

– Фандуары что-то замышляют. – Сирил морщится, обратив взгляд к окну. – Я видел, как они собираются на улицах, шепчутся. Леру слишком мягко с ними обращается. Дает им слишком много свободы. Он забывает историю, забывает, что случилось в прошлый раз, когда им позволили вот так разгуливать.

Я бросаю взгляд на статуэтку Троицы и вздрагиваю.

– Ты правда думаешь, что такое может повториться? Даже без гравуаров?

– Фандуары и сами по себе представляют угрозу; но ты права, все не обязательно будет так же ужасно, как в прошлый раз. Но чем дольше мы закрываем глаза на мелкие беспорядки, тем больше опасность, – отвечает Сирил. – Я выразил беспокойство, но Леру меня не слушает. Он рискует всеми нами. Если он не прекратит в ближайшее время, пострадаем мы все.

– Все настолько плохо? – я поднимаю брови.

Сирил проводит ладонью по лицу.

– Я искренне надеюсь, что не прав. – Он опускает глаза на документы, но не видит их, взгляд обращен куда-то далеко.

– Ты что-нибудь придумаешь.

Он улыбается:

– Как обычно. Ну, пора в постель. Мне предстоит еще много работы, прежде чем я смогу отправиться домой.

– Тогда не буду мешать.

Я пробираюсь к двери, чуть не опрокинув по пути деревянный глобус.

Сирил усмехается:

– Осторожней, *chérie*⁷. Это королевский подарок.

– Да, точно. Прости. – Я поправляю глобус и тяну дверь на себя. Уже стоя одной ногой в коридоре, оборачиваюсь через плечо: – Сирил, спасибо за ноты.

Он поднимает глаза от документа, который пишет, и кивает; вокруг рта у него разбегаются ласковые морщинки.

– Не за что, моя Иззи. Не за что.

Я закрываю дверь и скольжу по коридору, поворачиваю за угол – и вниз, пролет за пролетом. Все глубже и глубже я погружаюсь в чрево оперного театра, где сияющие коридоры, украшенные позолоченными ангелами, сменяются камнем и паутиной, где воздух становится холодным и неподвижным, где блеск обращается тихой загадкой ночи и одиночества.

⁷ Дорогая (фр.)

Глава 3

Катакомбы под оперным театром – мои владения. Там я падаю в сладкие ласковые объятия тьмы, погружаюсь в скромную простоту тишины и тайн.

Я проскальзываю в тоннель, ведущий в пустой склеп, который я выбрала для себя, и чиркаю спичкой, чтобы зажечь свечи, занимающие все поверхности в комнате. Мерцающие огоньки бликуют на каменных стенах и потолке, будто сетка мигающих оранжевых звездочек. Свет вырисовывает кровать в углу, накрытую одеялом винного цвета, и резные полки, набитые песенниками и пухлыми стопками нотных листов.

Посреди всего этого стоит мой орган. Я направляюсь к нему, провожу рукой по гладким резным краям и блестящим металлическим трубкам. Сирил купил его мне, когда мне было шесть, и помимо него этот орган – мой самый давний и близкий друг.

Клавиши манят, и я сажусь на скамью. Сдвигаю в сторону сочинение, над которым работала, заменяю его новыми нотами «Le Berger» и всматриваюсь в них. Слежу глазами, как взбираются вверх по нотной линейке шестнадцатые ноты, дальше такт трели – и они падают обратно. Повторяю мизинцем художественные завитки скрипичного ключа.

Мне не нужны ноты, чтобы сыграть отрывки из «Le Berger», за годы я запомнила наизусть всю партитуру. Пальцы сразу ложатся на позиции для вступительной арии, но, прежде чем погрузиться в знакомую восходящую гамму правой руки, которая вводит открывающие басовые тона, я замираю.

Внутренним ухом я все еще слышу голос Эмерика, который тихо, осторожно пробирается в разум, вниз, в горло, туда, где сердце вторит ритму его мелодии.

Руки мои перемещаются в новую позицию.

Я набираю воздуха.

И начинаю играть.

Музыка исходит откуда-то изнутри, просыпается ласковым зверем. Пальцы торопятся, пляшут по клавишам, скачут по диезам и бемолям, как камешек по ряби пруда. Носки жмут на педали, наполняя комнату насыщенным звуком, гулким и густым, и он патокой течет по каменным стенам.

Моя игра начинается как ответ на песню Эмерика, но дальше превращается во всплеск эмоций, которые я ощутила в его прошлом. Любовь. Безопасность. Надежда. Шестнадцатые ноты выводят птичью трель, и я замираю.

Тишина.

Смущенная, извиняющаяся улыбка Эмерика заполняет разум. Ямочки на его щеках. Темные волосы, прячущие глаза.

Я сдвигаю руки влево, и катятся рокочущие ноты, темные и мрачные, как ночная баллада.

Лишь когда пальцы соскальзывают с клавиш, я замечаю, что руки дрожат. Открываю глаза, стягиваю маску, провожу кулаками по неровным щекам и моргаю – они мокрые.

Рассматриваю блеск слез на костяшках.

Что он наделал, этот уборщик?

Всю свою жизнь я мечтала о внешнем мире. Стать оперной исполнительницей, которые приходят и уходят, когда захотят. Я видела семейные обеды за прекрасными деревянными столами, весенние прогулки в городских парках Шанна, восторг в глазах влюбленного перед поцелуем.

Но никогда до сего дня не видела я этого с такой четкостью, с такой яркостью, так подробно, что его воспоминания казались моими. Никогда раньше я не улавливала, на что на самом деле может быть похожа жизнь.

Теперь внешний мир зовет меня, умоляет выйти, вдохнуть его, ощутить его вкус.

Слезы затуманивают взор, пока я верчу маску в руках. Эта маска нужна затем, чтобы прятать мое лицо от внешнего мира, хоть немного усложняя задачу распознать, кто я. Сирил заказал ее для меня на шестнадцатый день рождения, в прошлом году, собственноручно сняв мерки и отправив их мастеру на севере. Когда ее доставили, это была просто черная, гладкая маска, закрывающая лицо от уха до уха и ото лба до подбородка. Я добавила на нее украшений: маленьких стразов, обводящих глазницы и губы, бусин, выющихся по скулам, вороньих перьев вокруг глаз.

С такой маской я почти прекрасна.

Я легонько провожу пальцем по вороньему перу.

Я пообещала Сирилу, что не пойду искать уборщика.

Но это невозможно.

Жестокий мир может уничтожить и Сирила, и меня, если меня обнаружат, но кое-что я поняла со всей четкостью, пронзившей меня насквозь в самое сердце: я должна вновь увидеть Эмерика Родена. Должна услышать, как он поет.

Потому что теперь я уже вкусила мир, спрятанный в бархате его голоса, и в груди ворохается голод, какого я никогда еще не испытывала. Жажда, которая овладела мною полностью. Желание, проросшее сквозь трещины в самое сердце.

Но дело не только в живости его воспоминаний.

Та малышка-гравуар с улыбкой на губах и солнцем в волосах... Мне нужно узнать о ней больше.

Гравуаров убивают сразу после рождения, казнят, как только обнаружено и подтверждено, что уродство сильнее, чем у фандуаров. Мне повезло, что Сирил спас меня от такой судьбы, но кто вытащил из воды эту малышку? Как она живет в мире открытого неба, улыбок и голубых ленточек в волосах?

Неужели такая жизнь – свободная жизнь без маски – возможна для существ вроде меня?

Если я смогу понять, как ей удалось, то, может, сама смогу встать на сцене вроде этой, над моей головой, и не только когда огни погашены, а зрители ушли. Может, я смогу что-нибудь узнать из воспоминаний Эмерика об этой девочке... Узнать, как добиться наконец огней рампы, аккомпанемента оркестра и восхищенной аудитории.

Я поднимаю глаза, будто могу пронзить взором каменный потолок и увидеть кабинет Сирила.

Он просил меня вести себя осторожнее, и я пообещала ему. Но воспоминания Эмерика таят в себе возможность не только покинуть оперу, но и остаться жить в мире за ее стенами. Наконец спастись от общества, которое заковало меня в тених. Выступать на сцене. *Влиять* на людей своей музыкой.

Я просто больше не могу прятаться по углам.

Сирил, как бы ни любил меня, никогда не ощущал, каково жить в полном ненависти мире. Если бы он смог, он бы понял.

Голос Эмерика звучит в голове. Я закрываю глаза, отдаваясь на волю мурашек, бегущих по коже от удовольствия, и сжимаю кулон.

Сирилу знать не обязательно.

Глава 4

Следующим вечером я сижу на своей жердочке, держась за пухлую ляжку херувимчика одной рукой и наматывая на палец другой цепочку кулона. Я пытаюсь раствориться в воспоминаниях исполнителей, но эти картины вдруг оказываются так скучны, так безжизненны, так далеки после того, что я ощутила в памяти Эмерика. Теперь, когда я видела краски *его* прошлого, черно-белые воспоминания одной и той же труппы, виденные мною дюжины раз на протяжении многих месяцев, уже не доставляют мне прежнего удовольствия. Я замечаю, что разглядываю публику, всматриваюсь в лица билетеров в дверях, ища загар и ямочки на щеках, которые преследовали меня во снах этой ночью.

Когда представление заканчивается и Сирил поднимается на сцену, чтобы исполнить «*Le Chanson des Rêves*», я резко сосредотачиваюсь.

«Исда, соберись!»

Уняв адреналин, огнем бушующий в венах, я всматриваюсь из-за коленей херувимчика в лица публики внизу. Они открывают рты, чтобы спеть.

Их воспоминания не врезаются в меня, как Эмериковы. Они лениво тянутся к моей силе, слабо покалывает левая лодыжка, где раньше был Символ Управления. Я вздыхаю и обращаюсь к этому ощущению, врезаюсь в их воспоминания и принимаюсь за работу.

Если я собираюсь послушать пение Эмерика так, чтобы Сирил не обнаружил, придется работать не хуже, чем в любой другой вечер. Сирил наблюдателен. Если что-нибудь покажется ему необычным, он догадается, что я что-то замыслила.

Призвав себе на помощь все, что я когда-либо слышала от Сирила о контроле эмоций, я глубоко вдыхаю через нос и бросаюсь в море воспоминаний внизу.

Когда песня заканчивается, каждый зритель улыбается.

Пот покрывает шею, грудь вздымается; я опираюсь на стену там, где она переходит в потолок, накручиваю выбившуюся прядку волос на большой палец и жду, пока опера не опустеет, а огни не погаснут.

Проходит вечность, пока я не решаю, что можно спокойно скользнуть в люк, а нервы так напряжены, что мне кажется, что я вот-вот взорвусь. Я вся дрожу и при мысли о том, что собираюсь пойти разыскать юношу, с которым мне запрещено встречаться, и от страха – риск очень велик.

Требуется каждая капля самоконтроля, чтобы не рвануть прямо на третий этаж, где, как я знаю, Эмерик моет пол. Нельзя на этот раз попадаться ему на глаза. Нужно быть осторожнее, чем вчера, – не теряться в воспоминаниях, не опрокидывать подсвечники. Я спрячусь, послушаю и понаблюдаю, и никто ничего не узнает.

Я замедляю шаг и подбираю юбки, чтобы не шуршали. Я жмусь к стенам и прячусь в углах, и стараюсь дышать ровно и беззвучно.

А вдруг Эмерик уже домыл пол? Вдруг я его упустила и он уже ушел домой на ночь? Вдруг он решит сегодня не петь за работой?

При этой мысли меня охватывает паника, но тут я слышу приглушенный напев через несколько коридоров отсюда. Я замираю и хватаюсь за ближайшую статую, чтобы одолеть внезапную дрожь в коленях: такое меня охватывает облегчение, а потом иду на звук чудесной песенки чистого тенора, который звучал в моей голове со вчерашнего вечера.

Едва я приближаюсь на расстояние, на котором мой дар способен уловить музыку – я всего лишь спустилась на несколько ступенек и завернула за угол, – я влезаю в уголок за бархатным креслом и опускаюсь на пол.

Его воспоминания, яркие и прекрасные, накрывают меня волной, борются с моим даром, пытаются проникнуть сквозь него. Кожа на щиколотке пульсирует в такт песенке, и я закры-

ваю глаза и пытаюсь сосредоточиться, пробираясь сквозь образы. Проскальзываю мимо ближайших воспоминаний этого дня и плыву глубже в прошлое: заглядываю в каждую сценку в поисках той девочки-гравуара и ищу дальше.

После первой дюжины воспоминаний тревога сжимает грудь. Я еще не нашла ее и холодею при мысли о том, сколько времени может занять поиск по всей линии жизни. Столько времени у меня нет. Эмерик скоро домоет пол и уйдет, а Сирил ждет меня в кабинете, чтобы обсудить итоги дня. Если я не явлюсь, он начнет беспокоиться и отправится меня искать.

Я все быстрее и быстрее перебираю воспоминания, не обращая внимания, что желудок будто выворачивает всякий раз, когда я отрываюсь от особо прекрасных моментов, чтобы нырнуть дальше.

Мелькают размытые образы небольшой квартирки, кондитерской, доброго на вид человека с курчавыми черными волосами и выдающимся круглым животиком. Добрая сотня вечеров проходит перед оперным театром – но не шанским, в этом я уверена. Дюжины монет собраны в маленький деревянный ящичек, а потом переправлены в билетные кассы. Эмерик зачарованно сидит, вцепишись в подлокотники бархатного театрального сиденья, и широко открытыми глазами неотрывно смотрит на сцену, и сердце его пронизывает мечта и зов.

Сжав кулаки, я мчусь назад во времени все скорее и скорее, до детства Эмерика, пропуская по пути целые годы. Мелькают сцены того, как он поет рядам самодельных плюшевых зверей на кухонных стульях, как он разучивает танцы в старомодной спальне, как он поет милой малышке в бледно-голубой ночной рубашке...

Воспоминания исчезают, и я охаю, будто меня окатили ледяной водой. Я не сразу понимаю, что произошло: не могу вдохнуть, не могу сконцентрировать взгляд.

– Мадемуазель, все хорошо? – спрашивает совсем рядом чей-то голос.

Я дергаюсь в сторону и бьюсь головой об спинку кресла. Встаю на ноги, морщась, и пячусь от нависающей надо мной тени.

– Извините! Я не хотел вас напугать. Просто... Вы тут так охали и пыхтели. Я испугался, что у вас какой-нибудь припадок. – Он наклоняется вперед, и на лицо его падает полоса звездного света. Он улыбается. Ямочки на щеках становятся заметнее, а у горла поблескивает бирюзовый камень.

Я вся вспыхиваю, надо бежать, но ноги будто свинцом налиты.

Эмерик проводит ладонью по волосам и склоняет голову набок.

Точно. Он же ждет ответа.

Слова застревают в горле. Я открываю и закрываю рот, точно рыба на берегу.

Я в жизни еще не говорила ни с кем, кроме Сирила. Никогда не встречалась ни с кем взглядом, никогда не перебросилась ни словечком.

– Все... Все замечательно, мерси, – наконец произношу я. Голос – не голос, а какой-то тонкий писк. Я сглатываю, припоминая вечную присказку Сирила: «Если не справляешься со своими чувствами, не справишься вообще ни с чем». Пытаясь успокоить лихорадочно бьющееся сердце, что колотит изнутри в грудную клетку, я разглаживаю юбку. Если вести себя слишком нелепо, Эмерик что-нибудь заподозрит. Чтобы остаться в живых, нужно всеми силами избегать этого.

– К вашему сведению, – выдавливаю я, – это был не припадок. Я... отдыхала.

– Ага. Звучит логично. – Он кивает, сверкают белые зубы. – Так пыхтеть – прекрасный способ расслабиться.

Я моргаю. Он что... дразнит меня?

– Прошу прощения, не расслышала, кто вы?

– Ой, как грубо с моей стороны! – Он протягивает для рукопожатия правую руку. – Я Эмерик Роден. Вчера нанят сюда уборщиком. Никогда раньше не работал уборщиком, но мама

вечно наказывала меня за непослушание, заставляя драить весь дом, так что я так думаю, я вполне компетентен в вопросах чистки и мытья.

Рука неловко висит в воздухе еще какое-то время, а потом он сует оба кулака в карманы куртки и расслабленно прислоняется к стене.

– Эээ... А вы скажете, как вас зовут, или придется играть в угадайку? – спрашивает он. Звездный свет бросает голубоватые блики на его профиль.

Он нервно усмехается:

– А то знаете, я вечно сажусь в лужу в таких играх. Лягну что-нибудь типа «Селеста», а потом окажется, что так звали вашу любимую тетушку, которая померла на той неделе, и я буду чувствовать себя полным придурком. – Он делает паузу и округляет глаза: – Стойте, у вас же нет никакой мертвой тетушки Селесты? Или там покойной любимой кошечки?

Я сжимаю губы. Страх стиснул нутро так, что обед угрожает явиться миру. Я бросаю взгляд наверх – туда, где ждет Сирил.

– Если вы знаете покойную Селесту, то я ужасно соболезнаю! – тараторит он, залившись румянцем. – Я же говорил, я не умею в такие игры играть! А еще хуже, когда наступает такая неловкая тишина, а вы стоите и не отвечаете, и я слегка струхнул, так что, если вы все-таки осилите что-нибудь сказать, я буду просто кошмарно признателен!

Я набираю воздуха и прогоняю дрожь ужаса из голоса:

– Вы слишком тараторите.

– Спасибо! – облегченно выдыхает он. – Эм, то есть простите. Я правда тараторю. Дядя тоже вечно мне про это говорит. Говорит, меня просто заткнуть невозможно.

– Оно и видно.

Он фыркает:

– Ай!

Я охаю, щеки вспыхивают огнем.

– Простите! Я не хотела... Я просто... – Я заламываю руки. Я же тысячи раз разговаривала с Сирилом! Почему беседовать с этим парнем до нелепого трудно?

Он улыбается.

– Ничего. Я получил по заслугам. Мне кажется, как-то раз я хлопнулся в обморок, потому что заболтался и забыл дышать.

– Правда?

Его смех – как музыка.

– Кто знает. – Он одаривает меня дьявольской улыбкой. – Ну так что, звать вас «мадемуазель» или у вас там за маской где-то припрятано имечко?

Сердце подскакивает при упоминании маски, но я расслабленно удерживаю руки на юбке и дышу как можно спокойнее. Наверное, он решил, что я просто фандуар, а не гравуар. Фандуарам запрещено законом появляться в публичных местах, где люди поют, но они находятся под защитой короля Вореля благодаря своей способности извлекать эликсир памяти. Пусть их лица не так изуродованы, как у гравуаров, они все равно должны носить на улице маски. Да, обычно их маски не расшиты перьями и стразами, это просто серебристая ткань, прикрывающая то, что не хотели бы видеть люди с чистыми лицами, но я надеюсь, что этот Роден не станет слишком уж вдумываться.

Он так и ждет ответа, чуть покачиваясь на пятках.

Что дурного, если он услышит мое имя? Его нет ни в каких учетных книгах.

Я прочищаю горло.

– Я Иса.

– Красивое имя.

– Мне тоже нравится! – вырывается у меня. Я всегда любила имя, которое Сирил выбрал для меня.

– Ладно, Исда... И почему вы сидели за тем креслом?

Я расправляю плечи, поднимаю голову, пытаюсь выглядеть более уверенно, чем на самом деле.

– Вообще-то я слушала вашу песню. У вас замечательный голос.

Он потирает шею.

– Эм... Мерси. Просто старая песенка, какую поют у нас дома. Ничего такого.

– Это можно сказать о песне, но не о вашем голосе.

Он бросает на меня взгляд.

– Ужасно мило с вашей стороны.

– Ничего милого, это правда.

– Все равно.

Я закусываю губу: мысли мчатся, образы из его памяти все еще пляшут призраками на обратной стороне век. Мне нужно как-нибудь устроить, чтобы этот парень пел мне, и пел много. Если я собираюсь разобраться с семнадцатью годами его воспоминаний, мне нужно время. И больше времени, чем пара минуток подслушивания по коридорам.

Я вдруг вспоминаю, как он пел в детстве, стоя на самодельной сцене перед рядами всевозможных игрушек. Я видела тысячи доказательств тому, что он просто одержим оперой.

На ум приходят вчерашние слова Сирила о том, что Эмерик приходил на прослушивание для зимнего представления.

– Вы в самом деле заслуживаете петь на сцене, а не мыть тут полы. Вы не думали пройти прослушивание?

Я пытаюсь вести себя как ни в чем не бывало, но мысли крутятся на предельной скорости, выплетая нити идеи. Идеи, которая идет вразрез со всем, что я вчера наобещала Сирилу насчет осторожности. Но если получится, то результат будет стоить риска.

Он пожимает плечами:

– Я и проходил, но никто, кажется, и слушать меня не собирается – все составляют себе представление о моих способностях с порога.

– Вы проходили профессиональное обучение?

– Я похож на человека, у которого хватит денег на такое? – Он указывает на залатанную куртку.

– Без обучения в опере на вас и не посмотрят. Но так уж вышло, что я весьма компетентная преподавательница по вокалу.

Я поражаюсь, как легко скользит с губ ложь. Остается надеяться, что он не расслышал напряженную нотку в моем голосе.

Он поднимает одну бровь:

– Вы? Но вы слишком юны для...

– Дело же не в возрасте. А в опыте – а этого у меня достаточно. Ну, так что скажете? Хотите учиться или нет?

– Мне нечем заплатить.

– Я разве упоминала деньги?

– А если не ради денег, то зачем вам все это?

«Затем, что я чувствую себя живой благодаря твоим воспоминаниям. Ради того, что я могу узнать благодаря девочке-гравюру из твоего прошлого. Ради шанса на свободу».

– Если у меня получится обучить певца для здешней сцены, – сочиняю я на ходу, – то докажу, что кое-чего стою как... Как мастер вокала. Меня начнут воспринимать всерьез.

– Но... – Он неловко мнетя, вновь торопливо проводя ладонью по волосам. – Но вы же фандуар, да? Фандуарам вообще-то нельзя работать в профессиях, связанных с музыкой, учитывая, что вы можете вытянуть весь наш эликсир памяти или что там еще.

– Вам не кажется немного нечестным, что фандуарам можно работать только в Maisons des Souvenirs? – спрашиваю я. – А если бы вы родились с определенным даром, некой способностью, которую вы ненавидите, а мечтаете заниматься чем-нибудь другим – ну, скажем, музыкой? Разве правильно, что целая жизнь определяется формой лица и какой-то силой, которой я не просила... – я опускаю голос до низкого глубокого шепота, – или какой-то судьбой, которую я не выбирала и не желала?

Он долго молчит, а когда заговаривает, то его голос едва слышен:

– Вы правы. Это нечестно.

– Я не прочь учить вас, – продолжаю я, не отводя глаз. – Потому что у вас выдающийся голос, который заслуживает быть услышанным.

Он выглядит задумчивым, но все равно чуть кривит бровь, и я понимаю, что он еще не убежден до конца.

– А где мы будем проводить уроки? И когда?

Я сглатываю. Единственная возможность, единственное место, где нас не обнаружат, – это мой подземный склеп. Сирил туда годами не спускался, так что вряд ли пойдет и сейчас. Но при одной мысли о том, чтобы привести туда кого-то, в мое личное пространство, тихое и мирное, внутри все леденеет.

Сжав на юбке кулаки, я отвечаю:

– Я живу здесь, в театре. Ну, под театром. В полночь вы могли бы спускаться туда вместе со мной и учиться.

– Звучит жутко таинственно. Почему бы просто не попросить мсье Бардена выделить нам какое-нибудь помещение в течение дня?

Время утекает. Мой слух обращен к потолку, я жду скрипа половиц и стука каблуков, знака, что Сирил уже ищет меня.

– Сирил позволяет мне жить здесь, скрываясь от профессии фандуара, до тех пор, пока я не вмешиваюсь в дела, которые могут повредить его репутации. Я больше чем уверена, что ему не понравится перспектива того, что я стану давать уроки вокала, да еще и днем, когда кто угодно может на нас наткнуться.

– Сирил?

– Месье Барден! – раздраженно поясняю я. Ну почему он задает так много вопросов? – Он... старый друг семьи.

Эмерик чуть расслабляется.

– Правда? Так вы близко его знаете?

Сколько можно ему рассказать?

– Он, наверное, даже больше, чем друг семьи. Он мне как отец.

Эмерик вскидывает брови, а уголки губ ползут вверх.

Я бросаю взгляд на лестницу за его спиной, ожидая, что увижу там высокую тонкую тень Сирила, который спускается к нам.

– Простите, но мне пора. Так что вы скажете насчет уроков?

Эмерик вслед за мной оборачивается поглядеть на ту же самую пустую лестницу, но, кажется, он больше не сомневается.

– Если вы обещаете не красть мой эликсир во время этих уроков...

– В самом деле, мсье Роден, это уже оскорбительно.

Он поднимает руки:

– Осторожность не будет лишней, когда в деле замешаны прекрасные дамы в масках.

Я вздрагиваю. Он что, только что назвал меня «прекрасной»?

Он вновь протягивает мне руку:

– Когда начнем?

Я какое-то время взираю на его руку, а потом подаю ему собственную. От прикосновения к чужой коже я прихожу в смятение. Но не только. Еще есть какое-то сладкое чувство, будто теплые объятия бойкой кантаты.

– Встречаемся в полночь в вестибюле, – велю я, отпускаю его руку и стремительно иду мимо него к лестнице со всем возможным достоинством.

Сработало! Эмерик мне поверил, и меньше чем через час мы встретимся снова на первом уроке.

Если все получится, я могу и в самом деле оказаться такой же, как гравуар из его воспоминаний: свободной.

Глава 5

Встреча с Сирилом проходит быстро, а когда оканчивается, я слетаю вниз по ступенькам, чтобы навести порядок в комнате. Запихиваю под кровать платья и чулки, поправляю покрывало для более приличного вида. Бросив взгляд на маленькие, украшенные серебром деревянные часы на ближайшей книжной полке, я издаю стон. На тумбочке громоздятся грязные бокалы, пол усыпали скомканные листы пергамента с прошлой недели, когда работа над музыкальным сочинением застопорилась; а до полуночи осталась пара минут.

Я хватаю с полки кинжал и запихиваю за пояс, прячу в карман платок и бегу по катакомбам наверх, в театр.

Добежав до вестибюля, я останавливаюсь за углом, чтобы привести в порядок маску и поправить корсет. Выждав, пока дыхание не успокоится, я расправляю плечи и стремительно выхожу.

Эмерик стоит напротив главного входа, неотрывно глядя на острые крыши Шанна и иссиня-черное небо над ними.

– Месье Роден! – Я останавливаюсь на полпути.

– Эмерик, – поправляет он, не оборачиваясь. – Город забываем ночью, правда? Все эти фонари и дым из труб...

– Мне тоже всегда так казалось.

Он оборачивается ко мне, и глаза его яркие, как звезды за спиной.

– Вы жили в Шанне всю жизнь?

Я достаю из кармана платок. Некогда болтать: Сирил может пройти мимо в любую секунду.

– Нам пора. Завяжите глаза.

Он фыркает:

– Ни за что.

Я делаю несколько шагов вперед, все еще протягивая ему платок:

– Будет... безопаснее, если вы не узнаете дорогу.

– Безопаснее? – он выгибает бровь, но криво ухмыляется в той манере, которая углубляет ямочку на правой щеке. – Простите, но перспектива блуждать с завязанными глазами по полному призраков театру вслед за загадочным фандуаром с кинжалом не выглядит «безопасной».

Я сердито смотрю на него.

– Не говорите глупостей!

– А, так это я глупости говорю? – он качает головой, расплываясь в улыбке.

– Надевай чертов платок!

– Нет!

Я свирепо гляжу на него.

– А если я скажу «пожалуйста»?

– Вежливость никогда не помешает.

Я закатываю глаза.

– Пожалуйста?

– Такая замечательная, вежливая юная леди! Но... Все равно нет.

Я пихаю ему платок.

– Ты всегда такой?

– Какой?

– Неисправимый. Невыносимый. Невозможный.

– Да, – смеется он. – И, позволь заметить, дивная аллитерация вышла.

– Теперь понимаю, почему ты так хорошо моешь полы.

Он сощуривается:

– Какое отношение мытье полов имеет к лучшим чертам моего характера?

– Ты же говорил, что мама заставляла тебя все отмывать каждый раз, когда ты плохо себя вел.

Он откидывает голову и смеется звонко и чисто, как колокольный перезвон:

– Touché⁸!

Смех его, хоть и тихий, отражается от плитки и стен. Я оглядываюсь через плечо, молясь, чтобы Сирил или был поглощен работой и не слышал, или уже собрался и ушел домой.

– Ладно, – я оборачиваюсь к Эмерику и отбираю у него платок. – Не надевай.

Разворачиваюсь на каблуках и раздраженно иду прочь.

– Мне идти за тобой или...

Я резко оборачиваюсь:

– Seriously, тебя головой роняли в детстве?

– Я бы сказал, это не исключено. Много бы объяснило.

Я всплескиваю руками:

– Да, тебе идти за мной!

– Ладушки, рад, что все прояснилось. – Он трусцой догоняет меня. – Веди, Исда!

Я застываю при звуке собственного имени. Сирил произносил его тысячи раз, но никогда – так.

– Все хорошо? – Эмерик смотрит на меня, и в уголках глаз собираются морщинки любопытства.

– Да, отлично. – Я поспешно иду по коридору, не утруждаясь проверить, следует ли он за мной.

Мы поворачиваем за угол и выходим к картине во всю стену: Троица свирепо смотрит на святого Клодена, а тот тянется сияющим изогнутым клинком к их глоткам. По спине бегут мурашки, и я отвожу взгляд от искаженных лиц трех гравюров, чьи крики навеки запечатлены в красках на стене. Я собираюсь пройти мимо, но Эмерик останавливается. Он пристально всматривается в картину, поджав губы.

Вслед за ним я поднимаю взгляд на Троицу. Слева – Маргерит, она самая высокая из трех; светлые, практически серебристые локоны омывают ее тонкую фигурку. Фиолетовые глаза сияют из-под густых ресниц, а рябое лицо искажено бешенством.

Следующая – Элуиз. Она маленькая, пухленькая и гневная, волосы у нее рыжие, как у меня, и обрезаны так коротко, что они пламенем полыхают вокруг головы.

А справа – Роз. Шелковистые пряди, черные как вороново крыло, гладко спускаются к босым ногам. При виде ее длинных тонких пальцев и острых зубов меня всегда продурует мороз. Наклон шеи, стиснутые кулаки, румянец на щеках – вся она воплощенная ярость. Но я вижу и боль. В глазах. Боль, тоску, предательство. Потому что по легенде это она любила Клодена. И это ее кровь он пролил первой, когда убил Троицу и стал спасителем мира.

Эмерик подходит ближе и ведет рукой по их нарядам туда, где мазки черной краски дымом завиваются вокруг ног. Пальцы скользят к крови, капающей из дюжин знаков, покрывающих кожу. Я узнаю Символ Управления на щиколотках: прямая линия, пересеченная молнией, которая напоминает мой старый шрам – тот, что подарил мне возможность работать каждый вечер в театре. Руны мерцают багрянцем на их руках, ключицах, горле.

Я много раз спрашивала Сирила о прочих знаках гравюров. Он всегда отвечал, что они слишком опасны, слишком капризны, и что он и так рисковал, обучая меня использовать Символ Управления.

⁸ Сдаюсь! (*фр.*)

И все-таки каждый раз, проходя мимо этой картины, я гадаю, на что еще я способна. Что еще я смогла бы с этими символами.

Но узнать мне не суждено. Если Сирил заметит на моей коже любую из этих рун... Меня передергивает при мысли об этом. Его доверие – одна из немногих ценностей в моей жизни.

Тоненький голосок в голове шепчет, что я прямо сейчас предаю Сирила, приглашая Эмерика в свой склеп и допуская в свою жизнь.

«Это другое, – убеждаю я саму себя. – Я буду осторожна. Ничего не случится».

– Пойдем. – Голос звучит сдавленно. Вдруг Эмерик переосмыслит свой вывод о том, что я просто фандуар, который прячется от судьбы? Вдруг он поймет, кто я, по лицу Роз?

Он опускает руку и кивает, но глаза его не отрываются от Троицы.

– Я никогда раньше не видел их портретов. Большинство о них даже говорить не желает.

– Правда? – Я бросаю взгляд на картину. В театре дюжины подобных изображений, а в кабинете Сирила стоит статуэтка. Но теперь, когда Эмерик упомянул об этом, я понимаю, что ни разу не видела их портретов ни в одном из воспоминаний.

– Они прекрасны, – мягко произносит Эмерик.

Я тарашусь на него:

– Что?

Он замечает выражение моего лица и смеется:

– То есть они, конечно, и ужасны одновременно. Не пойми меня неправильно. Я бы, наверное, в штаны наделал, если бы встретился с ними на самом деле.

Я фыркаю:

– Да уж. Эм... Сюда.

Я иду дальше, и через мгновение он следует за мной.

Какое-то время мы идем в тишине. Слышно только шаги да шуршание моей юбки по полу. Когда я поворачиваю к винтовой лестнице, которая спускается в подвал, Эмерик спрашивает:

– Ты так и не ответила на вопрос.

– Какой вопрос?

– Ты всю жизнь прожила в Шанне?

Ведя рукой по перилам, я спускаюсь во тьму. Внизу нет окон, но я знаю эти лестницы и коридоры как свои пять пальцев.

– Да, – коротко отвечаю я. – Ни разу нигде больше не бывала.

– Ни разу? Даже в Шантере⁹? До него же меньше дня пути!

– Даже в Шантере.

Он присвистывает, а потом спотыкается и впечатывает меня в стену.

– Извини! Ничего не видно.

Точно. Я лезу в карман и достаю простую зажигалку, которой зажигаю свечи в своей комнате. Щелкаю, и крошечный желтый огонек освещает лицо Эмерика.

– Так лучше? – Я вручаю зажигалку ему и продолжаю спуск.

– Замечательно.

Огонек за спиной делает мою тень на полу длинной и неестественной. Перья на маске выступают из головы рогами демона, и мне становится не по себе. Я отвожу взгляд, пока веду Эмерика мимо коробок и груд старых костюмов, беспорядочно хранящихся в подвале, к большому позолоченному зеркалу на стене в дальнем углу комнаты.

Мы становимся перед ним, и отражения его лица и моей черной маски чуть колышутся в свете зажигалки. Я прижимаю ладонь к холодному стеклу и давлю. Зеркало поворачивается

⁹ Город называется Chanterre. Terre (фр.) – земля, chanter (фр.) – петь, вместе – «Край пения».

внутри, открывая крутые ступеньки вниз. Ледяная тишь подземного мира знакомо щекочет холодом ноги.

– Ты живешь там? – Эмерик подносит к проходу зажигалку, но света не хватает, чтобы пронзить тьму внизу.

– Боишься?

– Знаешь, если быть совершенно честным... – Он глядит мне в глаза. – Да.

– Не бойся. Я самое страшное, что тут есть, а я тебя вроде не беспокою.

– Пока что. – Он будто дразнит меня. – После вас, мадемуазель.

Я шагаю во тьму, а он спускается сразу за мной, пока мы не добираемся до подножия.

Он осматривает гранитный тоннель, паутину, свисающую с потолка, сырой пол под ногами.

– Прямо уютненько тут.

– Сюда, – говорю я, и он идет за мной по тоннелям, следуя резким поворотам и длинным спускам, пока мы не добираемся до катакомб.

Хрупкие бурые кости вытянулись вдоль стен, и каждые несколько футов линия черепов и бедренных костей прерывается тяжелыми дверьми склепов, исчерченными старыми рунами.

– Кем были все эти люди? – Эмерик разглядывает один из черепов, когда мы проходим мимо, да так близко, что носом чиркает по его челюсти.

– Когда Шанн стал слишком многолюдным несколько десятков лет назад, их перенесли с кладбищ. Надо же было куда-то их деть.

– И было решено художественно разложить их под землей. Логично, – бормочет Эмерик, и мы доходим до моего склепа. Я распахиваю каменную дверь и завожу его внутрь. Свечи еще горят с тех пор, как я спускалась сюда прибраться, и мягкое сияние будто успокаивает его. Он гасит зажигалку и отдает мне, проходя мимо.

Я медленно вдыхаю через нос, а сердце подступает к горлу.

Я привела в свою комнату другого человека.

Эмерик останавливается и оглядывает все вокруг.

– Это тут ты живешь?

Я деловито прохожу мимо него к книжным полкам у дальней стены и листаю бумаги в поисках каких-нибудь нот.

– Да.

Я делаю вид, что мне все равно, но на шее встают дыбом волоски, пока он окидывает взглядом мои безделушки, мою кровать, одежду. Мой орган.

Так стиснув зубы, что в висках ломит, я беру несколько арий из знаменитых опер и возвращаюсь к Эмирику. Замечаю, что он изучает трубки с одной стороны органа, и ладони холодеют.

– Какая мастерская работа, – замечает он.

– Не трогай.

Он моргает, касаясь большим пальцем одной из самых толстых трубок:

– Что?

– Я сказала... – я гневно бросаюсь к нему и стряхиваю его руку с органа, – не трогай!

– Прости, я не хотел...

– Ты знаешь что-нибудь из этих арий? – я пихаю ему ноты, руки дрожат, щеки пунцовеют.

Может, зря я привела его сюда. Это мой мир. Это мои вещи. Здесь нет места для лезущих не в свое дело чужих рук или осуждающих взоров.

Забрав ноты, он пролистывает их.

– Более-менее. Вот эту, из «Агатона», очень люблю. – Он показывает ее мне.

– Давай споем что-нибудь из них, чтобы я получила представление о твоём диапазоне, навыках и умении управлять голосом. Так я лучше пойму, над чем работать. – Я выдергиваю

ноты у него из рук и занимаю место перед органом, раскладываю страницы и успокаиваю дыхание.

Он становится за мной, держа руки в карманах. Он так близко, что если чуть отклониться назад, я коснусь его. Я сижу, будто палку проглотила, и пытаюсь не думать о том, как вьется вокруг его запах, аромат ванили и жженого сахара.

Я кладу пальцы на клавиатуру, а глаза пробегают по нотам, отмечая тональность и размер. Эмерик за спиной набирает воздуха, и я начинаю играть первую арию из оперы «Агатон».

Когда голос Эмерика наполняет склеп, мне приходится все силы положить на то, чтобы не впустить в себя его эмоции. Если я собираюсь соответствовать тому, что о себе говорила, если я хочу убедить его, что я достойна его времени, нужно вести себя как простая учительница вокала. Ему нужно увериться, что у меня нет никаких тайных побуждений. Это значит, что мне следует сосредоточиться на его вокальных данных, а не на прекрасных картинах и душераздирающих эмоциях, которые его голос доносит до самых глубин моего сердца.

Не говоря уже о том, что если я поддамся волне его памяти сейчас, то могу и не всплыть на поверхность, так мне кажется.

Мы наполняем комнату звуком, и мой страх и волнение насчет того, что я привела его сюда, тают. Водопад звуков моего органа смешивается с его неопытным голосом, и я холодею.

Его пению место здесь.

Когда ария из «Агатона» заканчивается, мы поем еще. И еще. Чем больше я слышу, тем меньше хочу, чтобы он останавливался. Теперь я уделяю внимание его голосу, а не памяти, и кровь стынет от такой несправедливости.

Сирил не дал Эмерику даже шанса на прослушивание. Он отказал ему просто потому, что тот никогда не учился.

Мир *заслуживает* его услышать. Проведя столько лет в оперном театре, я ни разу не встречала такой голос, созданный, чтобы повелевать сценой.

Если бы я могла слушать его каждый вечер до конца своих дней, то боль, с которой я жила с рождения, жажда выйти наружу... Все это могло бы померкнуть. С крепкой поддержкой его живых воспоминаний мне не нужны были бы собственные. Я прожила бы жизнь его глазами. Если он станет оперным певцом, я смогу проводить вечера в его воспоминаниях о сцене. Его память такая живая, что я словно сама выходила бы на сцену. Даже если я так ничего и не узнаю о том гравуре за время наших уроков, то, если смогу сделать так, чтобы он остался здесь навсегда, чтобы его наняли в Шаннский театр оперы, у меня появится шанс прожить почти настоящую жизнь.

Пальцы прокатываются по клавишам в резком крещендо, а Эмерик раздражается ангельским фальцетом, от которого слезы наворачиваются на глаза.

Мне нужно устроить его на эту сцену.

Я отбиваю последний аккорд, и мелодия вибрирует внутри меня, пока я не отпускаю клавиши. Стены и потолок держат звук еще долго после того, как мы затихаем, дрожа под натиском музыки.

Глава 6

– Где ж ты научилась так играть? – едва шепчет Эмерик.

– Я самоучка. – Я оглядываюсь. Он стоит в паре дюймов, грудь его тяжело вздымается.

– Как?

Я указываю на ряды книг по музыке вдоль стен.

– Много читала. Много училась. Очень много практиковалась.

Он осеняет себя знаком Бога Памяти: проводит указательным и средним пальцем правой руки от левого виска к правому.

– Никогда не слышал ничего подобного.

– Могу то же самое сказать о тебе. – Я отрываю от него взгляд и собираю ноты. – Но тебе нужно разобраться с техникой дыхания и еще с кое-чем. Нижний диапазон нужно бы немного усилить, но это придет с практикой.

Я направляюсь к книжным полкам, чтобы вернуть ноты на место, затем просматриваю книги по технике в поисках гамм и упражнений по арпеджио. Эмерик идет следом, вместе со мной читает заголовки, но руки на этот раз уважительно держит в карманах подальше от моих вещей.

– Во-первых! – Я вытаскиваю одну книгу и листаю ее. – Тебе нужно следить за тем, чтобы дышать диафрагмой. Я буквально слышу, как у тебя плечи поднимаются на вдохе. У тебя выйдет гораздо более полный и мощный звук, если наполнять воздухом живот и выталкивать его мышцами пресса.

Я все болтаю: велю ему класть при пении ладони на живот, чтобы чувствовать, как он надувается с каждым вдохом, описываю дыхательные упражнения на укрепление мышц.

– Ты все это носишь? – перебивает Эмерик, я резко оборачиваюсь и вижу, что он совсем забросил учебники и глазеет на ряд масок на полке.

– Ты хоть слово слышал из того, что я рассказываю? – раздраженно спрашиваю я.

– Конечно. Дыхание и все такое. Ты все эти маски носишь? – Он указывает на одну и улыбается мне этой своей дурацкой улыбочкой. Замечает мой сердитый взгляд и поднимает руки: – Не злись! Я ничего не трогаю.

Тяжело вздохнув, я захопываю книгу, которую просматривала, беру ее под мышку вместе с другими отобранными томами и подхожу к нему.

– Многие я носила раньше. Они больше не по размеру. – Я касаюсь места, где та маска, которая на мне сейчас, обхватывает подбородок. – Эту сделали на заказ.

– А украшения тоже на заказ? Стразы и эти крылышки? – Он веером растопыривает пальцы около глаз и машет ими.

Пряча улыбку, я качаю головой.

– Нет, стразы и... «крылышки» я сама пришила. Кстати, они называются «перья».

– Перья. – Он улыбается так широко, что ямочки делят щеки напополам. – Посмотри-ка, уже поучаешь меня!

– Ты уже наспионился? Можем вернуться к уроку?

– Уже наспионился, да. – Он замолкает, привлеченный чем-то еще за моей спиной. – Ой, подожди! Я соврал. Что это там?

Я иду вслед за ним к полке, где расставлено множество вещиц, которые я за годы собрала в театре. Большая их часть – всякие мелочи, случайно забытые зрителями, которые я находила после представлений: часы, зажигалки, шелковая перчатка, сережка, блокнот, вышитый кружевной платок. Крупницы внешнего мира, которые можно подержать в руках.

Эмерик все это разглядывает, а у меня с каждой секундой все жарче и жарче горят щеки. Он решит, что я дурочка: коплю тут всякий хлам, как будто это драгоценности. Я замечаю, что

вытащила кулон из-под платья и стискиваю его грани, чтобы успокоиться, и заставляю себя дышать ровно.

Он разглядывает старый ловец памяти – маленькую плетеную подвеску, которую суевренный люд носит на шее, надеясь вспомнить забытое после потери эликсира памяти. Ловец рваный, не особо красивый или дорогой – на полке есть и подороже, – но Эмерик с теплом рассматривает его. Защитный символ Бога Памяти, простой круг внутри ромба, тщательно выплетен в центре.

– У моей мамы тоже был похожий ловец памяти, – тихо говорит он. – Только ее был голубой. Она то и дело его целовала. По несколько раз на день. Помню, как-то в детстве спросил ее, зачем, и она сказала, что целует его всякий раз, когда желает сохранить в памяти момент, который не хочет забыть.

Я не знаю, что ответить. Ловцы памяти – милые безделушки, но они бесполезны. У памяти ограниченный запас эликсира, человек рождается с эликсиром на семнадцать лет. Когда люди достигают семнадцати, их тело начинает использовать заново эликсир, потраченный на самые ранние воспоминания, чтобы создавать новые. Но если в тяжелые времена человек решит продать свой эликсир, емкость памяти уменьшается.

Единственный способ никогда ничего не забыть – купить достаточно эликсира, чтобы хватило на всю жизнь. Переборщить невозможно: когда человек поглощает достаточно эликсира, чтобы все запоминать, добавочные порции помогают четче обрисовать детали, уберечь ощущения от выцветания с ходом времени. Самые гениальные умы принадлежат богачам – людям, которые могут позволить себе миллионы порций.

Это наука. И пусть ловцы памяти – прекрасная идея, но ничто не спасет от потери памяти, если у человека не хватает эликсира, чтобы удержать ее.

Наверное, есть кое-что, за что мне стоит быть благодарной. Ни у фандуаров, ни у гравуаров нельзя забрать эликсир. Я буду помнить каждую секунду жизни до самой смерти.

– Что это? – Эмерик указывает на мою руку.

Я опускаю глаза на кулон в кулаке.

– Нашла его как-то в гримерке.

– Можно? – Он протягивает руку.

Я обдумываю ответ. Я едва знаю Эмерика и без того уже слишком многое ему открыла. Какой вред он способен причинить мне, зная то, что он знает, увидев то, что увидел сегодня?

Я вглядываюсь в его лицо, выискивая обещание беды, ту описанную Сирилом ненависть, которую мир затаил к таким, как я, то отвращение, которое, как меня учили, течет по их жилам. Но вижу только любопытство. И доброту.

Дрожащими руками, с колотящимся сердцем я снимаю через голову ожерелье и кладу его в протянутую ладонь.

Он подносит кулон к глазам, бережно рассматривает золотое украшение. Взгляд скользит по необычной форме коробочки, красивым гравировкам на наружной стороне, зубчатому верху, стеклянному окошечку спереди, в которое видно крошечную, изумительно проработанную балерину, замершую на середине вращения. Он оглядывает танцовщицу, наклоня кулон вперед-назад, чтобы поймать свет.

– Я нашла его под конец сезона, когда мне было пять, – говорю я, чувствуя себя до кошмарного выставленной напоказ, пока он рассматривает кулон. Я сняла его впервые за много лет. – В детстве я смотрела в окошечко и представляла, что эта маленькая балерина – это я, а коробочка вокруг – это театр. Мечтала, каково это – иметь такое лицо, уметь танцевать. У нее красивая улыбка, правда?

Меня бесит дрожащий голос, который трепещет крылышками колибри по прутьям клетки.

Эмерик кивает.

– Она красивая. Да и вообще всегда питал слабость к рыжим. – Он ловит мой взгляд и подмигивает.

Я делаю шаг назад, меня охватывает такой жар, что кажется, будто я вот-вот потеряю сознание. Поправляю маску, убираю обрамляющие ее волосы, что выбились из прически, за уши.

– Тут как будто петли есть, – задумчиво произносит он. – Он открывается?

– Открывается? – хмурюсь я. – Вряд ли.

– Вот же, похоже на петли. Маленькие, но я почти уверен, что это петли и есть. – Он показывает мне кулон.

Я сощуриваюсь и качаю головой:

– Похоже на декоративные выступы.

Он скользит ногтем по невидимому шву, прикусив язык. Берется за обе половинки кулона и, крикнув, тянет.

Я пытаюсь отобрать у него кулон.

– Если сломаешь, клянусь Памятью, я убью...

Кулон распахивается. Постамент маленькой балерины поднимается на несколько сантиметров и вращается. Играет тихая звонкая мелодия.

Я изумленно смотрю на нее.

– Откуда ты...

– Тсс! – он прижимает палец к губам и закрывает глаза.

Музыка колокольчиками течет по комнате, не громче вздоха, но прелестная мелодия прогоняет дрожь из рук, а страх из сердца. Я закрываю глаза и слушаю.

Эмерик тихо напевает себе под нос контрапунктом, что вплетается в ноты.

– Ты ее знаешь?

– Это старая южная ворельская колыбельная, – отвечает он. – Мама пела ее мне, когда я был маленький.

Он прочищает горло и, когда мелодия начинает повторяться, поет:

Встретимся во тьме мы,
Встретимся в ночи.
Там, где звездный ветер
Солнце погасил.

Здесь, под сводом древа,
Хорошо молчать.
Полночь воскресает,
Чтоб память охранять.

Тени дней минувших,
Помнящих закат,
Все воспоминанья
В шепоте хранят.

Дремлют в лунном свете,
Им ангелы поют.
Встретимся во тьме мы, милый,
Где дни былые ждут.

Я не дышу, пока его голос нежно скользит от слова к слову, и не впускаю в себя его воспоминания, потому что хочу слышать каждую ноту. Когда мелодия начинает вновь повторяться, я присоединяюсь.

Благодаря идеальной памяти гравуара я уже выучила слова наизусть, так что мы поем вместе, и я срываюсь в высокое сопрано.

Холодный воздух подземелья вокруг колыхается, и наша музыка вплетается в его дыхание. С закрытыми глазами существуют лишь наши голоса да перезвон крохотных колокольчиков.

Наши голоса взмывают вместе, дуэт возносится, пока не заполняет всю землю, пока не вздымается горами, взлетает на крыльях ветра и мчится к небесам, чтобы встряхнуть звезды.

И впервые я чувствую себя свободной.

Голос Эмерика обнимает меня, пронизывает, вплетает пальцы в мелодию, пробирается сквозь мое вибрато, занимая все пустоты. Перевиваются гласные. Согласные волнами набегают друг на друга.

Я не могу дышать, не могу думать. Вокруг лишь звезды, цвета и свет. Вверх-вниз по рукам снуют разряды, искры танцуют под кожей.

Как один, мы поем последнюю строчку, последним ударом разбиваясь о каменистый берег, усеянный лунным светом.

Я распахиваю глаза. Мы неотрывно смотрим друг на друга, тяжело дыша. Он стоит в паре дюймов, так близко, что я вижу каждую янтарную искорку в его темных, темных глазах. Каждый взмах этих черных ресниц. Каждый трепет нижней губы на вдохе.

Я пьяна его карамельным ароматом, отравлена жаром, что пышет меж нами.

Тихая мелодия кулона замедляется и останавливается, и мы замираем в тишине, прерываемой лишь тяжелым дыханием и стуком бурлящей крови в моих ушах.

Часы бьют час ночи, и я вздрагиваю всем телом.

Нельзя так петь – и так чувствовать себя – с кем-то еще. Я гравуар, тень в подземном мире мертвых. Я хватаю кулон с ладони Эмерика, не обращая внимания на то, как мозоли на его пальцах оставляют горящие следы на коже, и накидываю цепочку обратно на шею.

– Тебе пора. – Я пихаю ему книги по музыке, о которых чуть не забыла.

– Но...

– Возьми. Делай дыхательные упражнения. Тренируйся петь в нижнем регистре.

– погоди!

– Помнишь, где выход?

Я чуть ли не бегу к двери склепа, чтобы распахнуть ее, и роюсь в кармане в поисках зажигалки.

– Да, но...

– Чудно. – Я выпихиваю его в катакомбы и бросаю ему зажигалку. – Увидимся завтра ночью. В то же время.

– Иса...

Я закрываю дверь так резко, что в воздух вздымается пыль. Прижимаюсь спиной к холодному камню, срываю маску и вытираю пот со лба. Колени дрожат и подламываются, и я падаю на пол.

До вчерашнего дня я знала лишь одну жизнь – ту, которую я урывками перехватывала из воспоминаний оперных певцов. Единственные чувства, что были мне знакомы, – тоска и одиночество.

Всего за несколько часов благодаря одному рвущему сердце, душераздирающему, сокрушающему звезды голосу я оказалась в полном раздрае, все части моей симфонии перепутались, переписали себя в новый громовой мотив.

Я делаю медленный рваный вдох, пытаюсь вспомнить, как Сирил всегда учил меня держать чувства в узде. Вдох. Выдох. Найти равновесие. Раствориться в тишине.

Но нет ни тишины, ни покоя. Крошечная музыкальная шкатулка в кулоне, которую я убрала обратно за корсет, касается кожи. Металл теплый, будто там его рука, нежно прижимается к *бух-бух-бух* сердца.

Глава 7

На следующий вечер я стучу в дверь Сирила, чтобы обсудить представление, на удивление спокойная, учитывая, что меньше чем через два часа я вновь увижу Эмерика и проведу второй урок вокала.

Сирил не кричит мне войти, а лишь приоткрывает дверь.

– Сейчас вернусь! – говорит он обратно в комнату, выходит ко мне в коридор и прикрывает дверь за собой.

– Кто там? – дрожащим голосом спрашиваю я. Неужели Эмерик кому-то рассказал обо мне? Вдруг там меня поджидает член Королевского Совета Шанна, чтобы увезти прочь? Я прижимаю ладони к животу и пытаюсь вдохнуть, но легкие будто стиснул железный кулак.

– Эксперимент. – Глаза Сирила сверкают.

Я грызу щеку изнутри и жду, пока он продолжит. Сирил не улыбался бы так легко, если бы нам грозила какая-нибудь опасность.

– Я привел кое-кого проверить одну теорию, которая появилась у меня насчет твоих сил.

– И что это за теория?

– Ты сказала, что стерла момент, когда у тенора сорвался голос, из памяти слушателей, так?

– Oui.

Он берет меня за плечи и склоняется ближе.

– Моя теория состоит в том, что если ты способна *изменять* чувства в памяти, а также можешь *стирать* воспоминания, то логично предположить, что, вероятно, можешь и *создавать* собственные образы.

Я потрясенно смотрю на него.

– Уничтожить часть памяти – совсем не то же самое, что создавать что-то из ничего.

– Иззи, ты сможешь, – тепло говорит Сирил, выпрямляется и убирает ладони с моих плеч. – Тебе надо только постараться.

– Но...

– Ты гораздо могущественнее, чем думаешь. И от того, получится у тебя или нет, зависит, сможешь ли ты помочь мне в одном маленьком дельце.

– Что за дельце?

Его глаза блестят.

– Дельце *в городе*.

Я стою и моргаю. Во рту пересохло.

Он кладет мне на плечо руку.

– Я еще не уверен, возможно ли это в принципе, и детали еще нужно проработать, но мне кажется, ты готова для серьезных дел, Иззи. Просто нужно убедиться, чтобы не рисковать зря.

Я проглатываю комок ужаса и киваю.

В городе. Под величавым, огромным, усыпанным звездами небом. Как нормальная девушка.

– Я попробую, – глухо говорю я.

– Умница, – улыбается он. – Так вот, в кабинете сидит мальчик. Его зовут Амаду. Я хочу, чтобы ты проникла в его воспоминания и нашла момент нашей встречи. Она случилась всего пару часов назад, так что это нетрудно. Когда разыщешь это воспоминание, измени его. Я все думал и думал, как же нам убедиться, что у тебя все получилось, и придумал только один способ: дай мальчику повод меня бояться. Что-нибудь такое, чтобы он отреагировал на меня в настоящем.

Я заставляю себя кивнуть, но все мое тело будто застыло от тревоги. Я раньше никогда такого не пробовала. Вдруг у меня не выйдет? Вдруг Сирил решит, что у меня не хватит сил для того дела, которое он запланировал?

– Прекрасно. – Едва ли не подпрыгивая, Сирил поворачивается к двери и нажимает на ручку. – Амаду, я привел к тебе кое-кого!

Я медлю, опираясь рукой о дверную раму, – пытаюсь медленно вдыхать и выдыхать, как учил Сирил. Он никогда не просил меня о том, чего я не в силах сделать. Я вспоминаю о всех тех долгих днях, когда мне было лет девять-десять, всех часах, проведенных в попытках научиться управлять эмоциями в воспоминаниях его клиентов. Тогда это казалось невыполнимой задачей, а теперь совсем не требует усилий. Будто я всегда это умела.

Может, и теперь будет так же. Это вызов. Сирил считает, что у меня получится, так что обязано получиться.

Представляя радость и гордость, которые наполнят его глаза, когда у меня получится, я вхожу в кабинет вслед за ним и закрываю дверь.

Маленький мальчик не старше пяти лет сидит на моем деревянном стуле, вгрызаясь в багет. Крошки усыпают его руки и пол вокруг. Щеки покрыты таким слоем грязи, что я даже не уверена, какого цвета сама кожа. Волосы болтаются колтунами, а грязная, изорванная в клочья одежда свисает с костлявых плеч.

Это явно «забытый ребенок», один из тех беспризорников, которые болтаются по улицам. Родители этих детей так обнищали, что им пришлось продать свой эликсир памяти, и у них забрали так много, что они забыли, что у них вообще были дети. Через двадцать шесть часов после извлечения эликсира потеря памяти становится необратимой. Даже если бы эти родители, вновь разбогатев, купили бы эликсир, они не смогли бы восстановить потерянные воспоминания. Забытых детей забывают навеки.

Первый порыв – стереть грязь с его личика, но когда он видит меня и замечает маску, то застывает.

– Это фандуар! – кричит он и прячет лицо в ладонях. – Пожалуйста, мсье, пусть оно не трогает мой эликсир!

Сирил касается взлохмаченной макушки малыша и наклоняется отвести его руки от лица.

– Она не тронет твой эликсир, – заботливо говорит он. – Она просто посмотрит, сколько у тебя осталось. Обещаю, она ни капельки не заберет.

Мальчик рассматривает меня из-за седой головы Сирила.

– Зачем оно будет смотреть, сколько у меня осталось?

– Потому что я слышал, что какой-то фандуар рыскает по улицам и крадет у людей эликсир без их ведома. – Сирил кивает на меня. – А этого фандуара зовут Колетт, и она помогает мне поймать злого фандуара.

История, конечно, абсурдная. Фандуары не способны извлекать эликсир, пока люди не поют, да и сам процесс сложно скрыть: что насчет золотых светящихся лент жидкости, которые льются из ушей, и все такое? Сама я ни разу не присутствовала при этом, но много раз видела в воспоминаниях. Вытянуть эликсир без ведома человека возможно только в случае, если он закроет глаза, пока поет.

Мальчик будто задумывается. Через какое-то время сглатывает и кивает.

– Молодец! – Сирил вновь ерошит волосы мальчугана и выпрямляется. – Давай, спой нам, а Колетт проверит количество твоего эликсира. Начинай.

Амаду опускает взгляд на половинку багета, крепко сжатую в немых руках, и начинает петь. Голосок у него тихий. Высокий и нежный, как трель флейты.

Я немедленно ощущаю позыв окунуться в его воспоминания, обращенный к моей силе через место, где на щиколотке когда-то был Символ Управления. Я отдаюсь этому чувству и

ныряю в нежную струйку черно-белых образов. Бреду против течения мимо воспоминаний последних минут на несколько часов назад, заглядывая в каждое, и ищу Сирила. Проходит какое-то время, но наконец я нахожу искомое.

Амаду рылся в старом мусорном баке в переулке, когда Сирил подошел к нему, предлагая багеты и несколько кусочков сыра. Мальчик выхватил еду у него из рук и набил рот.

Надежда, хоть и с опаской, зашевелилась внутри, пока он поглядывал на Сирила между порциями. Можно начать здесь, управлять эмоциями я умею отлично. Стиснув зубы, я вдыхаю немножечко страха в эту сцену, пока воспоминание не застывает на грани паники.

Приоткрыв глаз, я бросаю взгляд на Амаду и Сирила. Амаду как сидел, так и сидит, поет, даже не запнулся. Сирил смотрит на меня, и его уверенная ухмылка чуть поблекла.

Очевидно, изменить эмоции недостаточно. Стиснув зубы, я думаю, что еще можно попробовать. Когда я стирала детали из других воспоминаний, мне нужно было только сосредоточиться на конкретных вещах, которые нужно было убрать, и вытянуть их, как через соломинку. Так, может, если я хочу что-нибудь добавить, нужно поступить наоборот?

Но что такого добавить в память Амаду, чтобы его страх перед Сирилом стал очевиден? Я хмурюсь, размышляя о людях, чью память я знаю лучше всего: об оперных исполнителях. Чего они боятся?

Мой взгляд плывет по комнате и останавливается на маленькой красной книжке, пригнувшейся на краю стола Сирила. Я сразу ее узнаю: это книга, по которой он учил меня, как управлять силой, когда я была ребенком. Я много лет ее не видела. Кусая нижнюю губу, я вспоминаю те дни.

Исполнители годами приходили и уходили, но все они начинали бояться одного и того же. Теней в углах. Скрипучих лестниц. Внезапных порывов ветра в пустых комнатах.

Призрака Оперы.

Все началось с объяснения, которое Сирил придумал, когда я была еще маленькой, чтобы артисты слишком не любопытничали, когда вещи перемещались с места на место или исчезали за ночь. Тогда я вела себя неосторожно, потому что была совершенно неспособна понять опасность, которой подвергаю себя, рискуя быть замеченной, и Сирилу приходилось что-нибудь придумывать, чтобы меня не нашли. Сначала его сказочка про привидение считалась шуткой, но потом воображение артистов разыгралось на полную.

Теперь я тщательно слежу за тем, чтобы не оставлять следов своего существования. За исключением Эмерика, много лет никто не замечал меня, но легенда о Призраке Оперы живет в странных звуках и внезапных сквозняках ветшающего здания.

Может, добавить в память Амаду что-нибудь вроде такого привидения? Жуткую тварь из теней и ужаса?

Я воображаю Сирила, укутанного во тьму, бледноликого, незрячего и клыкастого. Из всех сил сосредоточившись на придуманном образе, я выдыхаю его в воспоминание, перекрывая Сирила, каким его помнит Амаду.

Ничего не слушается. Черно-белый Сирил не изменяется. Улыбка его не исчезает.

Я так хочу, чтобы Сирил был доволен, чтобы он гордился мной! За всю жизнь у меня не было никого ближе, чем он, он был моей семьей, практически отцом. У меня разрывается сердце при мысли о том, что я разочарую его теперь, когда он вот-вот позовет меня помочь ему в каком-то серьезном деле.

Я собираю все крохи силы, какие только могу найти, и пропихиваю жуткое чудовище в разум Амаду. Сперва лицо Сирила из воспоминаний лишь слегка мерцает. Я стискиваю зубы до боли в челюстях. В груди разгорается пламя, и я подкармливаю его, пока оно не начинает полыхать во всем теле, в каждой кости.

Сирил из воспоминания обращается тенью. Глаза его превращаются в зияющие бездонные провалы. Кожа бледнеет. Рот распахивается, сверкают зубы.

Края размытые, а седина Сирила виднеется там и тут, но у меня получилось. Это все еще он, его можно узнать, но детали, которые я добавила, превратили его в жуткого демона из ночных кошмаров.

Я проигрываю воспоминание заново. В этот раз, когда Сирил подходит с багетами, страх, который я вдохнула в сцену раньше, оживает. Я наполняю другие воспоминания, ведущие к настоящему, тем же образом. Вскоре то, что когда-то было просто воспоминанием о добром господине, который решил покормить забытого ребенка, превратилось в видение злодея, который заманивает беззащитного малыша в свое логово.

Песня Амаду обрывается криком, который дергает меня так, будто желудок вытягивают через пупок.

Я распахиваю глаза и вижу, что Амаду рвется прочь от Сирила. Он с воплем лезет через стол, слезы обращают корку на его щеках в жидкую грязь, и ныряет вниз, задев по пути ногой несколько бутылочек с эликсиром. Флакончики падают на пол и разбиваются, забрызгивая штанину Сирила золотом.

Я вытираю потные ладони об юбки и поворачиваюсь к Сирилу, пытаюсь изгнать из памяти широко распахнутые от ужаса глаза Амаду.

Сирил сияет.

– У тебя получилось, – шепчет он, хлопает разок в ладоши, а потом в два стремительных шага длинных тонких ног подходит ко мне и заключает в крушащее ребра объятие. – Я не сомневался, что получится.

Я обмякаю в его руках, вдруг осознав, как ослабела, потратив столько сил.

– Получилось, – слышу я собственный голос.

– Получилось, *chérie*¹⁰. – Он отстраняется, чтобы всмотреться мне в лицо. – Гениальная девочка! Я знал, что ты готова к большему.

Я не могу удержать улыбку, и она ширится и ширится, а тепло окутывает все тело до кончиков пальцев.

Из-под стола Сирила доносится хныканье. Я оборачиваюсь на звук. Нужно бы сильнее винить себя за такое потрясение, нанесенное ребенку, но я так счастлива, что Сирил гордится мной, так довольна собой, что практически не слышу всхлипов.

– Сходи-ка попроси его снова спеть, чтобы ты могла все поправить. – Сирил выпускает меня. – А пока будешь заниматься этим, сотри заодно воспоминание о себе. Он, может, и ребенок, но нам незачем рисковать, что он кому-нибудь о тебе расскажет.

Кивнув, я огибаю стол и приседаю.

– Амаду?

Он выглядывает между пальцев и еще сильнее съеживается в тени под столом.

– Все хорошо. – Я подбираю с пола упавший багет. – Хочешь еще хлебушка?

– Тот человек еще тут? – Амаду в испуге отползает от меня.

– Нет, – говорю я малышу. – Ушел.

Он моргает круглыми влажными глазами, и я киваю на хлеб.

– Не бойся, я не дам тебя в обиду. Все будет хорошо.

Амаду сглатывает и обдумывает мои слова. Проходит какое-то время, но наконец он берет из моей протянутой руки багет и со всхлипами облегчения залезает мне на колени, чтобы обнять за шею и спрятать лицо у меня на груди.

Я похлопываю его по спине, не очень-то представляя, что еще делать.

Слезы пропитывают мое платье, и в меня вгрызается вина.

Что я сотворила с этим бедным малышом?

¹⁰ Милая (*фр.*).

В горле встает комок, и я крепче обнимаю маленькое тельце Амаду, прижимаясь щекой к его волосам.

– Все хорошо, – шепчу я. – Никто тебя не обидит.

Всхлипы продолжают сотрясать его, так что я делаю единственное, что приходит в голову. Запеваю.

Я знаю только одну колыбельную – ту, которой Эмерик научил меня вчера, так что ее я и пою практически шепотом, нежно распутывая пальцами колтуны в его волосах.

Через стол я встречаюсь глазами с Сирилом. Он кивает, чтобы я продолжала.

Когда всхлипы мальчика наконец начинают затихать, я отстраняюсь, чтобы вытереть большим пальцем его щеки.

– Ну вот, уже лучше. Бояться нечего.

– Это был злой фандуар? – спрашивает мальчик, и нижняя губа у него дрожит. – Тот, который крадет эликсир?

Я качаю головой.

– Нет. Вряд ли злой фандуар до тебя добрался. Но давай-ка лучше я проверю еще раз, хорошо? Споешь мне еще разок?

Утирая слезы тыльной стороной ладоней, он кивает и дрожащим голосом запекает песенку.

Я ныряю обратно в его память и высасываю образ монстра, пока на его месте не остается лишь Сирил с добрым взглядом и с багетом в руках. Затем я обращаю чувство страха обратно в настороженную надежду, что была до этого. Наконец я возвращаюсь к самым последним воспоминаниям, чтобы стереть собственное существование.

Когда я заканчиваю, меня трясет от изнеможения, а вычерпанная до доньшка сила зверем вгрызается в нутро. Я усаживаю мальчика на пол у стола Сирила и на дрожащих ногах пачусь от него. Он все поет, ужас на лице обратился доволством сытого человека. Я огибаю стол и как раз, когда Амаду допевает свою песенку, стираю последние следы своего присутствия из его памяти.

Сирил опускает ладонь мне на плечо. Я пытаюсь собраться, чтобы он не заметил, как я устала.

– Молодец.

Всплеск радости помогает мне ответить чисто и уверенно:

– Merci.

– Откуда ты знаешь эту колыбельную?

Я замираю, но Сирил думает о чем-то своем.

– Подслушала у оперных певцов на днях, – бормочу я.

Дергается дверная ручка, и улыбка Сирила пропадает. Он жестом велит мне спрятаться за дверь. Меня охватывает паника, но я устремляюсь, куда велено.

Предупреждающе взглянув на меня, он уверенным движением отпирает дверь. Медленно приоткрывает, и я задерживаю дыхание.

– Кто здесь? – Он выглядывает в коридор.

Никто не отвечает.

Сирил знаком велит мне подождать и исчезает за дверь.

Время течет своим ходом. Тишина нарушается лишь хрустом багета из-под стола Сирила.

Проходят, кажется, часы, прежде чем Сирил наконец возвращается.

– Никого, – шепчет он, косясь в сторону чавканья с другого конца кабинета. – Но будь осторожна, пока спускаешься к себе. Не хотелось бы, чтобы ты повстречалась с Призраком Оперы. – Он улыбается, но морщинки вокруг глаз выдают подозрение.

Я киваю, сглатываю и выхожу в коридор. Замираю, оглядываюсь.

– Этого хватит? Мне можно наружу с тобой?

Сирил улыбается и медленным нежным жестом убирает мне за ухо выбившиеся локоны.

– Мы попробуем еще раз или два. И еще нужно будет проработать детали, прежде чем говорить наверняка, но... – он ласково тянет меня за кудряшку, – мне кажется, все получится.

Воздух рвется из груди, грудь будто вот-вот взорвется стайей бабочек.

– Спасибо, – шепчу я.

Он склоняется, чтобы запечатлеть на моей макушке поцелуй.

– Доброй ночи, Иззи.

Дверь клацает, закрываясь за спиной. Я опираюсь на нее и долго стою, глубоко дыша и дожидаясь, пока колени перестанут трястись от истощения, а сердце замедлит суматошный стук, а потом отправляюсь во тьму.

Шагая в склеп, я напоминаю себе, что следует вглядываться в каждую статую, в каждую тень и подсвечник, ища любой намек на движение. Но перспектива выйти наружу из театра – она так будоражит, что я чуть не забываю предупреждение Сирила быть осторожной.

Но я в любом случае ничего не замечаю. Может, лишь задрезжал дверной ручкой вольный сквозняк.

Волнение утихает, когда я пролезаю через зеркало в катакомбы. Шаг замедляется, пульс возвращается в норму, и что-то начинает шевелиться в прахе, который остался в груди после ревущего огня моего дара.

Я внедрила в разум Амаду новый образ, которого там раньше не было. Такой живой и настоящий образ, что мальчик с воплями побежал прятаться под столом. И пусть я все еще чувствую вину за слезы ребенка, эта рябь в пепле наполняет меня тихим удовлетворением.

В голове звучат слова Сирила: «Ты гораздо могущественнее, чем думаешь».

Я чувствую свое могущество. Я цельная. Настоящая. Сегодня я не пряталась за статуей, пляясь вниз на ненавидящие меня людские толпы. Сегодня я была могущественна, как и сказал Сирил.

Пока я неспешно бреду в склеп, чтобы подготовиться к уроку с Эмериком, пепел в груди вновь возгорается небольшим искрящим огоньком, который растет и растет, пока с губ не срывается тихий смешок.

Хотя бы раз я не позволила обществу запереть меня. Хотя бы раз была больше, чем призрак из-за кулис. Даже больше, чем исполнители.

Я была режиссером, маэстро, творцом.

Так вот как это – влиять на других. Управлять, а не жаться в тени.

Мне весьма нравится.

Глава 8

Всю дорогу от вестибюля до склепа Эмерик безостановочно болтает. Рассуждает о статуях, мимо которых мы идем, – победит он их в борьбе или нет? Тыкает пальцем в самые нелепые костюмы в подвале и спрашивает, примеряла ли их я, даже ухитряется натянуть на себя кудрявый парик. Наконец, пока мы идем по катакомбам, он пялится в глазницы черепам – пытается переглядеть их и заставить моргнуть первыми.

Когда мы добираемся до склепа, я уже почти забываю дрожь, что осталась от применения дара на забытом ребенке. Я слишком занята тем, чтобы удержаться от смешков при виде сосредоточенного лица Эмерика, который пытается переглядеть череп слева от моей двери.

– Эх, Альберт! – он грозит кулаком сероватой кости и широкой зубастой улыбке. – Вот ты жулик! Не знаю как, но я точно уверен, что ты жульничаешь!

– Альберт? Серьезно? – поддеваю я, прислонившись к камню.

– Хочешь сказать, что все это время жила по соседству и даже не потрудилась познакомиться? – он цокает языком. – Какая ужасающая грубость.

– Да уж, что-то я оплошала. Передай Альберту мои извинения.

Он оборачивается к черепу:

– Ты уж прости бедняжку. Манерам она не обучена.

Приближает ухо к черепу, кивает:

– Знаю, знаю, но она не так уж и дурна. Может, дашь ей еще один шанс?

Замолкает, затем бормочет:

– Понимаю...

Оборачивается ко мне:

– Исда, Альберт говорит, что простит тебя только при одном условии.

– Каком?

– Поцелуй.

Я упираю кулаки в бока.

– Какой, однако, дьявол-искуситель этот месье Альберт!

Эмерик кивает:

– Такой бонвиван!

– Что ж, Альберт... – Я подхожу к Эмерику и встречаюсь лицом к лицу с черепом. – Я польщена вашими ухаживаниями, но боюсь, я предпочитаю живых мужчин.

Эмерик сочувственно вздыхает и похлопывает череп по скуле:

– Крепись, друг. Даже лучшие из нас порой падают жертвами сердечных битв.

Я не могу сдержать фырканья:

– Ты потешный.

– А ты, – он указывает на меня пальцем, – ловко раздаешь определения.

– Определения?

– Oui. Смотри. Сначала был, насколько я помню, «неисправимый». Дальше – «невыносимый». О, а дальше мое любимое, «невозможный».

Я скрещиваю руки и задумчиво оглядываю его.

– Скажешь, я где-то ошиблась?

– Нет-нет! Вообще-то я весьма впечатлен твоим вниманием к деталям. Другие только через несколько недель начинают догадываться о том, что ты поняла за день. Bravo!

– Я не такая, как все, верно?

Он усмехается, стягивает кепку и карикатурно кланяется до самого пола:

– Несомненно.

– Знаешь, сколь бы наблюдательна я ни была, я начинаю сомневаться, не ошиблась ли в первоначальной оценке.

– Ты о чем это?

– Сдается мне, что тебе место не в опере, а в цирке.

– Самый лихой укротитель львов?

– Хмм... – Я постукиваю по подбородку. – Скорее уж что-нибудь вроде: «Человек-обезьяна! На вид человек, в душе примат!» Прославишься на весь Ворель.

Он корчит мне рожу.

– Знаешь, обезьяны вообще-то очень умные.

– Ну что ты, я не имела в виду твой ум.

– Только внешний вид? Знаю, прическа у меня немножко лохматая, но вообще-то я полагал, что все не так плохо. – Его голос смягчается, и я ловлю его взгляд над пляшущим пламенем зажигалки в руке.

Мои глаза скользят до темных прядей над бровями, и меня вдруг переполняет желание протянуть руку и коснуться их.

– Нормальная у тебя прическа, – отвечаю я, и вся дразнящая игривость вдруг растворяется. На ее место приходит застенчивость, вязко липнущая к небу. – И ничего не похоже на обезьяну. Тебе... идет.

Он долго не отводит взгляд, и кажется, что он похитил весь кислород из тоннеля: ладони потеют, сердце колотится, а легкие сдавило.

– Тогда что ты имела в виду?

– Я... – Я сглатываю. – Я имела в виду, что... Просто, ну... Я долго наблюдала за людьми, и ты... другой.

Он склоняет голову набок и облизывает губы.

– Люди, за которыми ты наблюдала все это время, – театралы, здешние завсегдатаи. Я вырос в другом мире.

– В другом?

– Те, кто может позволить себе тратить деньги на музыку, танцы и модные наряды, обычно рождаются во влиятельных семьях. А я – наверное, как и ты – рос в одиночестве.

Я неотрывно гляжу, как слова падают с его восхитительно идеальных губ, как ямочки проступают на его совершенных щеках с каждым слогом. Каково это – быть таким прекрасным и неизуродованным?

Он пристраивает кепку обратно на затылок и, скрестив руки, опирается на дверь моего склепа.

– Нас было всего трое: я, сестра и мама. Папа погиб в шахте, когда я был совсем маленьким. После рождения сестры мы переехали в крошечный домик в глуши. Вокруг ни одного соседа, а ближайший город в нескольких милях пути. Мне не с кем было особо общаться.

– Зачем вы уехали так далеко?

По его лицу пробегает тень, но он пожимает плечами.

– Скажем так, мама слегка сторонила людей.

– Что с ней теперь?

Его глаза застилает печаль, и я вновь поражаюсь, как они темны и глубоки – он будто украл кусочек ночного неба. Меня всегда влекло к тьме и тому, что она укрывает, и я представляю, как тону в этих глазах и падаю, бесконечно падаю.

– Ее не стало, когда мне было пятнадцать. – Кадык дергается, Эмерик отводит глаза. – Почти три года назад.

– О... – Я вдруг начинаю путаться, куда деть руки, и нервно хватаюсь за цепочку на шее. Что вообще принято говорить в такие моменты? – Я... Я соболезнаю.

– Спасибо. По крайней мере, страх больше не отравляет ее существование.

– Выходит, последние три года ты жил в Шанне? – спрашиваю я, стремясь увести разговор от матерей и смерти, потому что мне не нравится, как эта тема вызывает в разуме скудные воспоминания о моей собственной матери перед тем, как она велела утопить меня.

Он качает головой:

– Нет. Некоторое время и жил у дядюшки в деревушке Люскан на севере Вореля. Кстати, об этом... – Он лезет в карман и достает горсть маленьких кругляшек, похожих на камешки, в белой обертке. – Хочешь?

– Что это такое?

– Ириски. – Он протягивает руку, но я не беру угощение.

– Конфеты очень вредны для голоса.

– Да, но, Исда, для души они просто чудотворны.

Я рассматриваю конфетки. Раньше Сирил уже приносил мне мятные леденцы, а по праздникам – шоколадки, но ириски я ни разу не ела. У меня слюнки текут при мысли о том, чтобы попробовать их.

Театрально вздохнув, Эмерик разворачивает мою руку ладонью вверх. Пальцы у него теплые, и я чуть не охаю, когда он касается меня. Он кладет один из кусочков на ладонь и загибает поверх него пальцы.

У меня вся рука дрожит, каждый нерв звенит от его прикосновения к моим костяшкам.

Он ловит мой взгляд и мягко улыбается:

– Давай. Попробуй.

Выпускает мою руку, разворачивает себе одну ириску, закидывает в рот и закрывает глаза.

– Ммм... На душе сразу полегчало.

Он проглатывает и разворачивает следующую, и я сжимаю пальцы.

– Ну же! – Он указывает на мой стиснутый кулак. – Я сам их сделал. Обещаю, они не отравлены, там нет крови козла, ничего подобного.

– Ты сам их сделал? Я думала, ты уборщик.

– Не хочу тебя пугать, но порой уборщики и другие вещи делают. – Он театрально охает. – Невероятно. Понимаю.

– Ну ладно! – я разворачиваю ириску и кладу в рот. – Доволен?

– Ага, – ухмыляется он.

Ириска моментально тает, оставляя тепло и сладость на языке, еще более потрясающая, чем я представляла.

– И это ты сам сделал?

– Не спрашивай только про секретный ингредиент. Не расскажу.

– Я и не собиралась...

– Это сахар. – Он подмигивает. – Никому не говори.

Я помимо воли фыркаю и осеняю себя знаком Бога Памяти: провожу двумя пальцами правой руки от виска до виска.

– Я не выдам твою тайну.

Он убирает оставшиеся ириски в карман.

– Ладно, готов? – Я толкаю дверь склепа. – Наверное, пора уже приступить.

Сегодня я намереваюсь нырнуть в его память в поисках девочки-гравуара. Предвкушая, как он будет петь снова, как я наконец получу возможность окунуться в мир, столь отличный от моего, я ощущаю покалывание дара, готового и нетерпеливо зовущего меня. Но я все еще истощена из-за того, что потратила много энергии на забытого ребенка наверху, мне даже не хватает сил открыть склеп. Я налегаю на дверь. Та не двигается.

Улыбка пропадает с лица Эмерика.

– Ты в порядке? Мне кажется, ты сегодня... слегка уставшая. Все хорошо?

– Долгий день был. – Я пихаю камень плечом.

– Может, лучше поспишь? Могу прийти завт...

– Нет! – Я чуть не срываюсь на крик. Подавив истеричную нотку в голосе, бормочу: – Я имею в виду, все нормально. Музыка поможет прийти в себя.

– Дай-ка, – не отводя взгляда, он подходит так близко, что я практически чувствую на языке его аромат ванили и жженого сахара. Он упирается в дверь сильной рукой и сдвигает ее.

– Мерсі, – выдавливаю я и подныриваю под его рукой в комнату, чтобы зажечь свечи.

Он входит вслед за мной и укладывает книги на скамью органа.

– Я попробовал несколько упражнений, которые ты мне посоветовала. Парочка оказалась весьма непроста.

– Прекрасно. Буду рада услышать, что ты растешь.

Я заканчиваю зажигать свечи и бросаю зажигалку к коллекции на полке, затем сдвигаю книги и занимаю место за органом.

– Для начала разогреемся.

Мы исполняем несколько гамм и простых мелодий, чтобы разогреть его голосовые связки, а затем посвящаем полчаса упражнениям из книг, которые я ему дала.

– Нет, нет, нет! – прерываю я его посреди арпеджио. – Ты все равно дышишь грудью. Ты меня в гроб загонишь!

– Прости, – он виновато улыбается. – Не будем подвергать загробный мир испытанию твоим характером.

– Очень смешно, – фыркаю я и вскакиваю с сиденья. – Положи ладони на живот и вдыхай так, будто у тебя внутри шарик, который ты пытаешься надуть. Ты должен ощущать, как надувается с каждым вдохом живот.

Он слушается, медленно набирает воздух, не отводя взгляда.

– Нет! Снова дурацкие плечи! Я их просто отрежу! – Я кладу ладони ему на плечи и придавливаю их. – Теперь вдыхай так, чтобы мои руки не шевелились.

Он втягивает воздух, и я с усилием давлю ему на плечи, чтобы удержать их на месте.

– Еще.

Он вдыхает. Выдыхает. Вдыхает. Выдыхает.

Комнату наполняют медленные размеренные звуки его дыхания. Он моргает, и на миг ресницы касаются его щеки. Я не могу отвести взгляд. Я камнем лечу вниз, кувыркаясь в какую-то бездну, но удивительным образом это ощущение не переполняет меня ужасом. Я не падаю с большой высоты в неизвестность... Это падение такого рода, какое переживаешь, закрывая глаза и отдаваясь во власть дремоты в теплом гнездышке, уверенная, что проснешься в залитом золотым светом мире.

Я не замечаю, как близко мы оказались, пока мои колени не врезаются в его. Мы так близко, что от дыхания воздух между нами обратился в карамельное тепло.

Я опускаю руки и отворачиваюсь, пытаюсь не обращать внимания на то, что пальцы все еще ощущают ямочки между его ключицами и изгиб лопаток.

– Попробуй спеть вступительную арию из «Le Berger», – выговариваю я; рот будто набит ватой. Я тянусь на полку за новыми нотами, подаренными Сирилом, и вручаю их Эмерику, не встречаясь с ним глазами.

Мне нужно сосредоточиться. Если я собираюсь найти что-нибудь об этом гравуре в его памяти, необходимо больше времени уделять поискам в его прошлом и меньше отвлекаться на ямочки и лопатки.

Устроившись за органом, я кладу руки на клавиши. Я с давних пор люблю вступительную арию из «Le Berger», и ее я могу без запинки сыграть даже во сне, если понадобится. Она идеально подойдет, чтобы нырнуть в память Эмерика, потому что мне совсем не нужно фокусироваться на музыке.

Я наигрываю знакомую прелюдию, и затем, когда Эмерик начинает петь, не сопротивляюсь потоку, как вчера, а широко распахиваю душу и позволяю течению унести меня. Прибой тащит меня на дно, эмоции так глубоко и полно затапливают меня, что я едва не рыдаю от счастья. Закусив язык, я плыву вглубь. Дальше и дальше, пока образы деревушки не сменяются проблесками золотого солнечного света, пологих холмов и маленького домика, который приоткнулся на краю яблоневого сада. У меня подсакивает сердце, когда мелькает лицо гравуара, но я заставляю себя погрузиться еще дальше в прошлое.

Мне нужно добраться до самого начала, посмотреть, как родилась эта девочка, где началась ее история.

Я еще долго плыву против течения, но наконец попадаю в одно воспоминание, которое сверкает, будто молния, хотя его образы говорят, что дело происходит в ночной тьме.

Эмерик еще ребенок лет пяти-шести. Стоит темная ночь, свет дает лишь бледная желтая луна в окошке да чадающий фонарь на тумбочке. Мама Эмерика полусидит на кровати, она покраснела от потуг, а волосы слиплись от пота. Он вцепился в мамину руку.

– Все хорошо, Мамап, – тоненьким голоском уверяет он. – Уже почти все.

Его тельце трясется от ужаса, ему хочется убежать, спрятаться, но он стойко держится около кровати, стискивая ее пальцы, и старается лишь не смотреть на вспухший живот и на кровавую простыню между ног.

У изножья хлопочет акушерка, пристраивая чайник с горячей водой и стопку пеленок, бормочет матери что-то утешительное насчет дыхания и родовых потуг.

Со следующей схваткой Эмерик плотно зажмуривается, жалея, что нельзя закрыть уши руками, чтобы не слышать воя матери.

– Умница, Даниэль, – хватит акушерка. – Малыш уже почти вышел. Еще разок!

Еще один последний вопль, который чуть не раскалывает домик пополам, и все закончено. Мокрое тельце малыша падает на руки акушерке, Мамап откидывается на подушки, всхлипывая и так крепко сжимая руку Эмерика, что у него немеют пальцы.

– Получилось, Мамап, – говорит Эмерик, сдерживая слезы ужаса и облегчения.

– Как малыш? – спрашивает Мамап у акушерки.

Та не отвечает.

Мамап садится на кровати, и в голосе звенят нотки тревоги:

– Ребенок здоров?

– Она в порядке, – откликается акушерка, но не поворачивается лицом, а малышка не кричит.

– Она... жива? – голос мамы надламывается на втором слове. – Прошу, только не говори, что она...

– Жива, – помедлив, отвечает акушерка.

– Что не так?

Акушерка прочищает горло.

– Дай ее мне. – Мамап с горящими глазами выпускает ладонь Эмерика и протягивает руки. Акушерка все еще не поворачивается, и Мамап кричит: – Отдай мне моего ребенка!

Взгляд Эмерика мечется между матерью и акушеркой, его вновь охватывает желание убежать, наполняющее тело жарким адреналином.

Акушерка медленно разворачивается, пока не оказывается лицом лицу с его матерью.

– Ребенок – гравуар, – невыносимо тихим голосом произносит она.

– Отдай ее мне.

– Лучше я унесу ее. – Акушерка накрывает младенца белым одеяльцем, чтобы его не было видно. – Возьмешь ее на руки – и станет только еще сложнее сделать как полагается.

Мамап с визгом бросается к акушерке. Они борются за ребенка, и тот начинает ужасно вопить.

Мама Эмерика отвечает акушерке пощечину, и Эмерик вжимается в столбик кровати. Акушерка охает, а мама выдирает у нее из рук сверток и надежно прижимает к груди.

Акушерка таращится на маму, одной рукой ощупывая алый след на щеке.

– Я обязана забрать гравуара. Это закон.

Мама крепче прижимает к себе младенца.

– Ты уверена, что она гравуар? Может, просто фандуар...

– Даже если и так, оставить ребенка у себя ты не сможешь. Фандуары воспитываются в Учреждении. – Она судорожно вздыхает, прижимая ладонь к груди. – Но я уверена, это существо – не фандуар. Нет спирального родимого пятна на груди.

Мама опускает взгляд на сверток в руках и откидывает краешек одеяла с лица малышки. Уверенное выражение лица лишь на миг искажается, когда в глазах вспыхивает испуг и потрясение, но потом она улыбается и проводит большим пальцем по лбу ребенка.

– Мама? – испуг Эмерика острым осколком льда засел в моем сердце.

– Арлетт, – шепчет Мама, оборачивается к Эмирику и опускает сверток, чтобы ему было видно. – Хорошее имя, правда? Арлетт. Да, мне кажется, ей подходит.

Эмерик заглядывает в лицо сестрички, обводит глазами холмы и овраги ее искореженных черт. Смотрит на рябую кожу фиолетового оттенка, на шишку вместо носа.

Осторожно протягивает руку, чтобы погладить ее по животу.

– Я... Я соболезную, Даниэль, – говорит маме акушерка, опуская ладонь на ее плечо. –

Но правда, мне нужно...

– Взгляни на ее ушки, – нежно говорит Мама.

– Мне...

– Взгляни.

Акушерка подчиняется, кидает взгляд на ребенка и поднимает глаза на Мама.

– Хорошенькие.

– Правда ведь? Кругленькие такие! И немножко великоваты. Прямо как у ее папы. – Мама неотрывно смотрит на Арлетт, и слезы росой дрожат на ее ресницах. – Знаешь, он ведь умер до того, как я поняла, что беременна.

Акушерка стискивает руки.

– Соболезную твоей потере.

– Он всегда хотел дочку, мой Ришар, – голос срывается. – Что бы он сказал, будь он здесь...

Она зажмуривается и всхлипывает.

Эмерик встает на цыпочки, чтобы посмотреть еще разок. Новая сестренка дергает ручками.

Акушерка кладет руку на плечо Мама.

– Я понимаю, это непросто, но мне правда нужно забрать ребенка. Таков закон.

– Нет. – Голос матери – как зазубренное лезвие, и когда она распахивает глаза, они полыхают адским пламенем. – Ты ее не заберешь.

– Если я не заберу, а ее найдут, нас всех обезглавят. – Акушерка пристально следит за матерью, будто опасается, что та снова ударит ее.

– Ее не найдут. – Мама подходит к тумбочке и, держа малышку на одной руке, другой дергает ящик, в котором хранится плотно набитая сумка. При доставании она позвякивает сотнями стеклянных бутылочек. Мама поворачивается к акушерке и протягивает сумку.

– За молчание.

Акушерка хмурится, но сумку берет и заглядывает внутрь. Сияние эликсира вычерчивает грани ее лица.

– Сколько здесь?

– Две тысячи триста сорок два, – уверенно отвечает Мамап. – Все, что получилось забрать у мужа, прежде чем он умер, и больше мне нечего тебе предложить. Здесь более чем достаточно денег, чтобы ты держала все при себе. Пожалуйста. – Она смотрит на акушерку полными слез глазами. – Прошу тебя.

Та хмуро глядит в ответ, губы кривятся в сердитой мине. Эмерик цепляется потными кулачками за пропитанную кровью ночную рубашку матери, стук сердца грохочет в ушах.

После долгой паузы акушерка наконец вздыхает и кивает.

– Ладно. Но голову за тебя я подставлять не стану. Если ребенка найдут, ты всем скажешь, что родила без помощи акушерки.

Лицо Мамап вспыхивает радостью, и она бросается акушерке на шею.

– Никто не узнает, что ты была здесь! Merci!

Акушерка собирает вещи и уходит, и я вынырываю из воспоминания. Страх Эмерика, его облегчение, его замешательство тянут меня ко дну, но песня уже почти допета, а мне еще многое, очень многое хочется увидеть.

Я скольжу дальше, заглядывая там и сям, посматриваю, как растет девочка-гравуар. Дом из ранних воспоминаний пропал, теперь они живут в другом, поменьше, на краю яблоневого сада. Наверное, мама Эмерика увезла обоих детей подальше, чтобы Арлетт не обнаружили. Вот почему Эмерик рос вдали от мира, вот почему пел игрушечным зверям, а не другим людям, вот почему у него не было ни денег, ни возможностей учиться вокалу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.